

Николай ПОЛОТНЯНКО

# МИНУВШЕГО ЛЕПЕТ И ШЕЛЕСТ

Русский роман

## В пастельных тонах и негромким голосом

Исторический роман может быть посвящён деятелям и событиям прошлого. А может, как «Минувшего лепет и шелест», прошлому как таковому. В первом случае время трубит и грохочет со страниц книги, во втором — действительно, лепечет и шепчет. Не так уж и важно, что именно происходило в прошлом, важно ощущение хода истории, течения жизни.

«Минувшего лепет и шелест» повествует о Симбирске 1833г. Дата не указана в книге. Зато показан Пушкин, направляющийся в Оренбург через Симбирск. Ненавязчивую подсказку даёт читателю автор.

Легко, в пастельных тонах, негромким голосом... Таковы впечатления, производимые романом, начиная уже с названия: «Минувшего лепет и шелест». Аллитерация — повторяющиеся в названии «ш» и «л» — настраивает на лёгкость, приготавливает к тому, что автор поведаёт нам свою историю шёпотом, на выдохе. Ведь можно было бы сказать: «Прошедшего лепет и шелест». Но «р» совершенно разрушила бы необходимое впечатление. Ткань романа можно уподобить прозрачной, колышимой малейшим движением воздуха ткани.

Наряду с симбирскими обывателями, героями романа стали И.И. Дмитриев и И.А. Крылов, А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров и В.Ф. Огоевский. Кто-то из них, как, например, Огоевский или Пушкин, являются активными участниками повествования, кто-то присутствует лишь незримо. Кроме здравствующих творцов и деятелей, то и дело на страницах возникают тени Карамзина и Державина, Пугачёва и Юлаева, которые, в свою очередь, и есть минувшее для действующих героев романа. То есть минувшее в романе многослойно, оно лепечет и шелестит для пожелавших прислушаться потомков.

Шелестят под пушкинскими пальцами страницы «летописи» академика Рычкова, свидетеля осады Пугачёвым Оренбурга, шелестят страницы романа Николая Полотнянко, запечатлевшего кусочек симбирской жизни. Так о чём же роман? Девушка Кравкова убежала из родительского дома, чтобы поступить в монастырь... Гусары Нефедьев и Матюнин похитили сестёр Дмитриевых... Губернатор Загряжский рядится старухой и ходит неузнанный по городу... Но роман и не о Кравковой, не о гусарах, не о губернаторе Загряжском и даже не о Пушкине с Огоевским. Автор помещает русских гениев в среду их современников и обозревает минувшее в целом. Именно такой приём позволяет увидеть не Пушкина и не Огоевского, а современную им Россию, колорит и обаяние которой автор воссоздаёт вполне. Роман написан в импрессионистической манере, поэтому в нём нет законченных сюжетных линий, перед читателем проходит один год из жизни губернского города, особо отмеченный прибытием Пушкина. Символично описание вьезда поэта в Симбирск: «В лучах уходящего солнца вспыхивали золочёные главы храмов, но когда Александр Сергеевич въехал в гору, то очарование городом сразу развеялось: вокруг были ямы и кладки сырого и обожжённого кирпича, глухие заборы, из-за которых на экипаж свирепо лаяли большеголовые гладкошёрстные псы, лужи с гниющей водой...» Но вот Пушкин едет дальше, в усадьбу Языковых, и «путешествие в тёплую сухую погоду по ровной дороге среди позолоченных сентябрём дубрав, берёзовых рощ и осинников» уже не утомляет его. А глядя из окна усадьбы на поля и перелески, на пруд с купальней, бревенчатыми мостками и лог-

кой, поэт почти завидует Языковым, живущим так вольно, красиво и просторно. Не так ли и вся Россия, манящая издалека ни на что непохожей красотой и встречающая смелых незнакомцев злобным лаем и коварными ямами? Но не стоит торопиться с суждениями. Может показаться, что Россия капризна и вздорна, но тому, кто поймёт её, она откроется иной стороной.

...Как бы невзначай удаётся Николаю Полотнянко ввести в повествование рассуждения, имеющие отношение и ко дню сегодняшнему. Это и мысли о литературе («деньги очень скоро сделают литературу шивым рынком, где будет не протолкнуться от набежавших со всех сторон торговцев залежалыми словами»); и соображения о русском характере, составляющем массу неприятностей как своим обладателям, так и окружающим («большинство из них не понимает, что им повезло родиться с золотой ложкой во рту <...> Но они не только не радуются своему счастью, а наоборот, всегда готовы составить заговор <...>, сбежать в Англию <...> и брюзжать оттуда на российские порядки»); и исторические обобщения («Россия потеряла правду и совесть, и без них ей не жить»).

Обозревая вместе с Николаем Полотнянко кусочек минувшего, невольно приходишь к выводу, что знаменитые слова из летописи Нестора: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет...» — стоило бы, пожалуй, давно начертать на российском гербе. Однако автор, несмотря на свой сугубо беспристрастный взгляд на Отечество, не впадает в нагryw. Что, кстати, стало редким литературным событием. Нагrywом поражено современное нам искусство. И не только искусство слова, но и кино, и театра. Деться некуда от бесконечных нагrywов, повсюду так и норовят подсунуть какое-нибудь живописание убийства, изнасилования, а то и антропофагии. При этом пого всё, конечно же, подведена философская база. Правда, от этой квазифилософии уже тошнит. И неважно, что огни пускаются во все тяжкие от любви к России, другие — от ненависти к ней. Главное, что и в книге, и на экране все пьют, потом режут, насиляют и поедают друг друга. На этом фоне «Минувшего лепет и шелест» — настоящий глоток чистого воздуха.

...Тихонько, чуть иронично рассказывает автор о том, как «губернское барство съезжалось в город из своих поместий, чтобы весело провести рождественские праздники, просватать дочерей и женить сыновей, повеселиться на балах, поиграть в карты и вволю посплетничать». А также о том, как сторел на работе чиновник питейного акциза, «о краже из будки стражника мешка нюхательного табака, о досрочных родах у молодой вдовы...» И пр., пр., пр.

Ехал Пушкин по России... И вот огна остановка в губернском городе вызвала к жизни роман. Имя Пушкина стало для Николая Полотнянко своего рода факелом, помогающим выхватить из тьмы веков несколько картин ушедшей жизни...

Светлана Замлелова

## Глава 1

Зима, как это не раз с ней бывало, и в этом году подзадержалась с приходом в Симбирскую губернию. В первую половину декабря погода металась из стороны в сторону: ночью схваченную морозом землю посыпала жёсткая снежная крупка, озёрные и речные воды возле берегов обрастали ледяными закраинами, но вступал в свои права день, и солнце начинало по-весеннему бойко разрушать всё, что успела понастроить зима за ночь.

И лишь за две недели до наступления рождественских праздников, выпали по-настоящему глубокие снега, ударили крепкие и звонкие морозы. И далеко окрест по промёрзшему воздуху был слышен переливчатый звон бубенцов ямщицкой тройки, которая, обгоняя хлебные и рыбные обозы, поспешала по Московскому тракту к заштатному, построенному в своё время на засечной черте городку Тагаю, последней станции перед славным городом Симбирском.

Кони, взбодрённые залившимся свистом ямщика, на последнем кураже, предчувствуя близкий отдых и кормёжку, не без лихости вынесли возок на невысокий пригорок, к дому станционного зрителя. Тотчас в окне проявился его распылчатая физиономия и сгнула за грязной занавеской. К тройке с хрипловатым брёхом кинулась рыжая хромая собака, местная приживалка, ямщик бросил ей корку хлеба, и она завилала облезлым хвостом.

Войлочный полог кибитки откинулся, и на снег, усыпанный клочками сена, выскочил ухватистый господин в суконной николаевской шинели с пелериной и бобровым воротником. На голове у приезжего была белая фуражка с красным околышем, указывающая на его принадлежность к благородному сословию. К шинели

и фуражке прилагались круглая физиономия с чёрными бакенбардами и твёрдым взглядом стального цвета глаз, а также вздёрнутый нос забияки в красно-синеватых прожилках.

— В лучшем виде доставили, — молвил ямщик, теребя овчинный треух. — Как договаривались, барин, самый полдень.

— Ты, каналья, нас чуть было не опрокинул!

— Так в том, ваше благородие, барском рыдване, что мы обходили, лошади какие? Пахотные, большой дороги не знают, вот и испугались нашей молодецкой гоньбы, звону да свисту! Возок трянуло чуток, но какая езда без тряски? Это ж не на плоту плыть — где кодобинка, где вся тебе яма, другой дороги здесь отродясь не бывало.

— Ладно, держи, свистун!

В шапку ямщика полетел серебряный гривенник, на водку.

— Покорно благодарен вашему сиятельству, — вякнул ямщик и кинул монетку в свою обросшую ржавчиной бороды пасть, где, понянчив денежку языком, ловко спрятал за щекой, намереваясь донести её в целости и сохранности до кабацкой стойки, чтобы согреть своё озябшее на морозе нутро казённой водкой.

Барин бойко взбежал на крыльцо, мощным рывком отодрал плотную дверь, стуча сапогами, вошёл в низкую комнату и, отыскав глазами божницу, перекрестился. Смотритель торопливо привстал со стула и наклоном головы приветствовал приезжего.

— По казённой надобности! До темна надо быть в Симбирске, — на стол полетела подорожная.

— Вы один изволите путешествовать?

— Нет-с, не один. Со мной находится благородная девица Варвара Ивановна Кравкова, следующая в Симбирский женский Спасский монастырь.

— Немного повремените, господин полицмейстер. Скоро прибудет свежая тройка.

Приезжий кашлянул, огляделся по сторонам и, выбрав на лавке место почище, сел, не касаясь закопчённой стены.

— Я, собственно, уже не полицмейстер. Я — сызранский городничий, —

значительно промолвил он. — Еду представляться симбирскому губернатору его превосходительству Александру Михайловичу Загряжскому!

— Чаю не изволите?.. Мне на той неделе на радостях от близкого свидания с родительницей артиллерийский капитан презентовал свой походный чайный сервиз. Мне, говорит, больше не понадобится. Залягу в родовом имении, отслужил своё.

— Экое легкомыслие, — строго сказал городничий, — а ещё артиллерийский капитан. Мы тоже не одно имение имеем и под Москвой, и в Крыму, во фронте государю и отечеству служили. И сейчас вот служим. Без государевой службы благородному человеку никак нельзя. Долг, польза отечеству — вот первейшие качества дворянина!

— Точно так... Марфа, чаю! Не изволите выкушать?

— Минутку! Я сейчас приглашу попутчицу. Думаю, она озябла.

Сызранский городничий быстро вышел во двор и уже через несколько минут появился с благородной девицей Кравковой. Главным достоинством Варвары Ивановны была её цветущая молодость, но предстоящая разлука с мирской жизнью уже наложила тягостный отпечаток на её милое личико. Судя по всему, мысленно она уже переступила порог монашества и вступила в мир, где времени не существует. Впрочем, мужчин это, казалось, мало занимало. И городничий, и смотритель оказывали ей всяческие знаки внимания. Особенно старался тагайский смотритель: он самолично поспешил к самовару, выбрал самую красивую и чистую чашку для чая, наложил в вазочку клубничного варенья, застелил колени Варвары Ивановны чистым полотенцем. Но эта суета мало затронула будущую отшельницу, она была тиха и молчалива. Напротив, сызранский городничий, выпив горячего чаю, пришёл в возбуждённое состояние.

— Саранские именитые люди провожали меня с большим сожалением. И правда, мной за короткий срок было сделано немало добрых дел. Представьте себе, город мог остаться без бани! Я спас, отстоял баню, когда вокруг неё полыхали семь домов, крытых соломой. Головёшки так и летели во все стороны, словом, Бородино случилось, а не пожар! Я поспел вовремя и приказал сломать дом, который ещё не горел, но был рядом с баней, можно сказать, принёс его в жертву. Я не дал распространиться огню быстрым полётом водяных труб! О сей огненной баталии я написал своему пасынку князю Владимиру Фёдоровичу Одоевскому. Я его за родного сына почитаю. А князь высоко стоит, на вершине, можно сказать, государственного олимпа! Шутка сказать — товарищ министра внутренних дел графа Блудова!

— Как же, знаем-с! — поддакнул смотритель. — На знаменитых подорожных видели руку князя Одоевского!

— Вот-вот... Всем Саранск хороший город, но полёта мало. Леса, мордва... Я вольные края люблю, чтобы Волга была, нивы на десятки вёрст, птицы хищные над

степью. Присоветовал мне князь Сызрань. Город хлебный, рыбный. Опять же купцы-миллионщики жительство имеют. С ними благоразумному человеку есть о чём потолковать.

— А вы, осмелюсь спросить, большую запашку имеете?

— Судите сами, милейший: до тысячи десятин в подмосковном имении и ещё полтора столько в нижегородском. А вы? Тоже, небось, имеете пашенку рядом?

— Всего десять десятин. Батюшкино наследство.

— У меня хлеба в этом году отменные. Управляющий пишет, вот только письмо получил, почти сто пудов с десятины намолачивают...

— Вот счастье! А по всей России, сказывают, недород.

— Хозяйствовать с умом надо! — сказал сызранский городничий и постучал пальцем по своему лбу, затем обратился к спутнице: — Варвара Ивановна, голубушка! Чай стынет, а вы не кушаете. Что вы там разглядываете?

Внимание благородной девицы Кравковой было приковано к засиженной мухами литографии на библейскую тему возвращения блудного сына. Кто знает, какие мысли вызвал у неё этот нравоучительный сюжет, возможно, она жалела о своём поспешном решении бежать в монастырь, вспоминала родителей, родную усадьбу, кто знает.

Её телохранитель — городничий хотел утешить беглянку, но всеобщее внимание привлёк шум во дворе. К смотрительскому дому подъехал рыдван, запряжённый парой крепких лошадей, за ним следовали трое крестьянских саней, запряжённых одноконь, нагруженные коробами, рогожными тюками, свёртками и картонками. На последних дровнях дымился самовар, а перед ним для сбережения сидел мужик в овчинном полушубке.

— Кто это? — спросил городничий.

— Господин Верёвкин с семейством. Они каждый год из усадьбы переезжают на городское жительство. Дочки на выданье.

Варвара Ивановна, услышав разговор, немного оживилась.

— Это наша дальняя родня.

— Ах, вот как! — возбудился городничий и подтолкнул смотрителя. — Зови в дом!

— Так идут уже сами.

— А мы к вам со своим чаем! — объявил господин Верёвкин, протискиваясь в лисьей шубе в комнату смотрителя.

— Милости просим! Разрешите представиться: отставной подпоручик Дмитрий Павлович Сеченов, сызранский городничий!

— Ну, а мы — симбирские Верёвкины... Ба! Варенька! — воскликнул отец семейства, увидев девицу Кравкову. — Ванька, тащи самовар! Петька, подай чайный погребец! Холодную телятину несите, пряники, сахар!

Девицы Верёвкины бросились Варваре Ивановне на шею. Начались расспросы, вздохи, восклицания.

— Как ты похорошела, Варенька!

— Обрати внимание, Маша, как она интересно бледна!

— Ах, оставьте меня! У меня сейчас решающий в жизни момент!

Восклицание Кравковой остановило вокруг неё суматоху, поднятую экзальтированными дальними родственницами. Отец пытался привлечь внимание всех к пышущему жаром самовару, калачам и ватрушкам, холодной говядине и утренним сливкам, но девицы и родительница вцепились в Варвару Ивановну мёртвой хваткой и требовали объяснения. Поупирившись, она сдалась, тем более что ей хотелось поделиться обуревающими её сомнениями с другими людьми — ошибка простительная в молодые годы.

— Я решила принять постриг в Спасском монастыре.

Это признание девицы Кравковой повергло её дальних родственников в изумление, они замолчали, но потом суматоха продолжилась с новым пылом. Сёстры и их родительница — горячие поклонницы сентиментальной прозы Карамзина, весьма модной тогда в провинциальной России, — горячо поддержали решение Варвары Ивановны, верным чутьём уловив, что в её намерении содержится роковой тайный подтекст вроде неразделённой и отвергнутой любви, запретных свиданий, а может, чего-нибудь такого, о чём девицы любят шептаться втайне от родных.

Сёстры и родительница стрекотали вокруг несчастной Варвары Ивановны, пока Верёвкин, привычный управляться со своим норовистым семейством, не отодвинул всех в сторону и, приблизившись к девице Кравковой, не потребовал у неё ответа, а знают ли родители о её намерении затвориться от мира в монастыре? Варвара Ивановна отвечала, что не ведает.

Верёвкин отыскал взглядом станционного смотрителя и крепко схватил его за рукав. Испуганный чиновник онемел от страха и жестами переадресовал Верёвкина к сызранскому городничему.

— Отдаёте ли вы себе отчёт, милостивый государь, в пагубности совершённого вами проступка? Девица юна, глупа, в голове блажь пузырится, но вы, человек государственной службы, потворствуете, споспешествуете преступлению против власти родителя!

— Позвольте! — ощерился сызранский городничий. — Власть родителей я чту, но есть власть — высшая для всех смертных! Служить Господу или вытирать слюни с халата пьяного отца — что предпочтительнее?.. Варвара Ивановна решила посвятить себя Богу. Противиться этому нельзя!

— Да вы! Да я!.. Я губернатору доложу о мерзких проделках вашей милости! — затопал ногами Верёвкин.

Конфликт грозил перерасти в рукопашную схватку, но сызранский городничий держался стойко, сказывалась армейская закалка.

— Я готов дать удовлетворение! — дерзко заявил он. — Господин смотритель, прошу быть моим секундантом!

Чиновник проблеял что-то невнятное и отступил за девиц, которые с удовольствием начали раздувать вспыхнувшую искру нового скандала.

— Дуэль! Опомнитесь, папа!

— Молчать! — заорал Верёвкин и подчёркнуто вежливо обратился к сызранскому городничему. — Я остановлюсь в Симбирске в доме брата. Претензии адресуйте туда, начиная с завтрашнего утра.

— К вашим услугам! — щёлкнул каблуками отставной подпоручик, довольный счастливым выходом из щекотливого положения: завтра в это время он уже будет на пути в Сызрань.

Варвара Ивановна вышла следом за ним из смотрительской избы.

— Что надумали делать? — спросил её Сеченов. — Едете со мной или остаётесь?

— С вами. Всё решено.

## Глава 2

«Литературный субботник», как именовали в светских и писательских кругах Петербурга еженедельные рауты, которые устраивал в своём двухэтажном флигеле в Мошковом переулке литератор и видный чиновник министерства внутренних дел князь Одоевский, начался, как обычно, после окончания представления в театре и завершился неторопливым расходом гостей уже далеко за полночь.

Владимир Фёдорович, сдерживая подкативший к горлу зевок, прощался с Иваном Андреевичем Крыловым, а маститый баснописец всея Руси неторопливо застёгивал водружённую лакеем на его мощную фигуру шубу и доверительно внушал князю, как он удовлетворён проведённым в его доме вечером:

— Я, князь, не ожидал от тебя столь тонкой изобретательности. Признаться, даже был напуган слухами, которые витают в городе о твоём странном гостеприимстве, но ты меня разубедил, оказывается, всё это враки...

Крылов покрыл крупную голову зимней шляпой и заоглядывался, ища свою спутницу в прогулках по городу — вырезанную из дуба трость, с которой он никогда не расставался.

— И что за такие слухи обо мне угнетают умы наших просвещённых современников? — улыбнулся Одоевский, заметив, что гость утратил нить своего повествования.

Иван Андреевич лукаво глянул на жену князя Ольгу Степановну и слегка причмокнул толстыми губами.

— С сегодняшнего вечера я враг всяким разговорам, которые смущают покой вашего семейства, ибо самым расчудесным образом убедился, что соус, коим был одобрен поглощённый мной за ужином поросёнок, никак не мог быть приготовлен в химической реторте в секретной лаборатории, которую князь завёл на втором этаже своего флигеля. Болтают досужие языки, что ты изобретаешь там фантастические блюда и соусы, но такого поросёнка изобрести нельзя. Я это сразу почувствовал и, кажется, знаю его родословную и даже чухонскую мызу, где он появился на свет и выпоен молоком. Позвольте, княгиня, поблагодарить за проявленную вами заботу о старике, — и, несмотря на свою тучность, Крылов легко наклонился и поцеловал руку молодой женщины.

Ольга Степановна, которую из-за её смуглости называли креолкой, смутилась, и от этого похорошела. Иван Андреевич, наконец, обрёл свою трость и вымолвил то, что от него весь вечер ожидал Одоевский:

— Прочёл твою прозаическую пьесу про Бетховена. Не хотел говорить при всех, чтобы не смутить тебя похвалой. Вещь вышла не просто удачной, нет, в ней, Владимир Фёдорович, есть нечто такое, что определит навсегда тебе место в нашей, ещё очень юной российской словесности.

Похвала маститого старца была нешуточной, Одоевский, смутившись, зарделся, как маков цвет, и смущённо пробормотал:

— Это всего лишь слабая проба пера...

— Вот и создай в духе твоего Бетховена что-нибудь более значительное, — Крылов запахнулся воротником. — Мы, старики-писатели, своё образование получали в солдатских казармах, взять хотя бы Державина, Дмитриева или меня... Ваша поросль образована в лицее, университете, поездками к немецким профессорам, а я, грешный, живу своим умишком.

Провожая гостя за порог, Одоевский так и не понял, пошутил над ним Иван Андреевич или говорил правду. Верилось, что он не покривил душой, похвалу своему Бетховену Владимир Фёдорович слышал от разных людей, но как автор знал, что его произведение в некоторых местах слабовато, и другие, конечно, видели это, поэтому и приходил в волнение, когда кто-нибудь начинал его хвалить, а вдруг это подвох?..

Перед важными визитами и готовясь к «субботнику», Одоевский для успокоения нервов употреблял немного опиума, сегодня действие лекарства закончилось раньше обычного, и князь пребывал в излишне возбуждённом состоянии.

— Как ты считаешь, Оленька, Иван Андреевич был искренен со мной?

— Иначе не могло и быть! — воскликнула супруга. — Твой Бетховен всем нравится, даже графине Лаваль, а это дорогого стоит. На днях я была у неё и прочитала письмо, знаешь, откуда, из Сибири. Твой Бетховен известен уже там, и несчастные его хвалят.

Владимир Фёдорович несколько окреп духом, но заметил:

— Графиня меня хвалит, но сегодня она была явно недовольна.

— Она была шокирована несдержанностью китайского попа отца Иакинфа Бичурина.

— И была права, — поморщился Одоевский. — Но какой он китаец? Хотя окитаился, набрался пекинской демократии и ляпнул, что китайские мальчики лучше женщин.

Конечно, случай был досадный, и, поднимаясь на второй этаж в свой кабинет, который именовался «львиной пещерой», князь был смущён случившимся, но и только. При всём своём неоспоримом аристократизме Одоевский был не чужд демократизма и новых веяний века, что отразилось на людях, которых он пытался залучить на свои «субботники». Бичурин после своего длительного пребывания в пекинской дипломатической миссии был диковинкой, на него в петербургских салонах возникла мода, и на сегодняшний вечер к Одоевскому он явился, презрев приглашениями более значительных особ, чем малоизвестный литератор.

В кабинете было теплее, чем внизу, и, провожая гостей, хозяин основательно продрог, поэтому, переступив порог, сразу потянулся и коснулся ладонью серебряного самовара, из которого княгиня сегодня потчевала посетителей, наливая чай в чашки собственноручно, что было ещё одной приметой демократизма в этом аристократическом семействе.

Одоевский налил чаю и подошёл к письменному бюро, с любопытством наблюдая, как на стене чуть ли не до потолка отразилась его почти фантазмагорическая тень. Но иной она не могла быть, князь любил поиграть в Фауста, средневекового алхимика, и одевался дома соответственно: на голове — острый длинный и чёрный колпак, на плечах — длинный, до пят сюртук, ни дать, ни взять — астролог, а то и чародей.

Трудно сказать, одевался ли Одоевский подстать обстановке своего кабинета, но и она была подобрана с претензией убедить гостей, что здесь обитает и создаёт нетленные шедевры оригинальная и неповторимая личность. Кабинет и в самом деле отпечатывался в памяти людей, удостоенных чести его посетить, как странное, порой нелепое, собрание причудливых этажерок с множеством ящиков и углублений, необыкновенными столами со всевозможными склянками и химическими ретортами и даже черепами, с выразительным портретом Бетховена на стене — седоголового лупоглазого немца в красном галстуке, с недоумением взирающего на царивший в комнате беспорядок. Книги лежали повсюду — на столах, диванах, подоконниках, на полу, попадались среди них и действительно ценные экземпляры европейских мистиков и российских древностей.

В этом безмятежном беспорядке любили бывать почти все представители цвета тогдашнего петербургского общества: государственные сановники, дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, такие уникамы, как китайский поп Бичурин и светские красавицы, где бесспорно первой была Наталья Николаевна Пушкина, стройная, как пальма, на которую не рекомендовалось заглядываться тем, кто ещё не был знаком с африканским нравом первого поэта России.

«Снобы пеняют мне на мой демократизм, — размышлял князь, согреваясь чаем. — Но мне не надо притворяться аристократом. Мой род, пожалуй, наиболее древний в России, поэтому я без всякого умаления родовой чести могу быть демократом, а если быть безукоризненно точным — трудящимся аристократом, что уже и есть демократ».

Одоевский действительно был тружеником, и в этом качестве его высоко ценил министр Блудов, он являлся, по сути дела, главным творцом весьма либерального цензурного устава 1828 года, много занимался иноверцами, стал знатоком межконфессиональных отношений, много читал для умственного развития, но всепоглощающей его любовью была литература. К ней он относился более чем трепетно, тщательно обдумывая свои прозаические пьесы, по десятку раз переписывал страницы, с трудом решался на публикацию, а после ревниво прислушивался к мнениям людей, которых ценил и даже завидовал их таланту, но никогда в этом не признавался даже самому себе. И только иногда задавал себе вопрос, ответ на который был ему не нужен: «Пушкин, бесспорно, гений, но меня это почему-то не радует, хотя должно быть наоборот?» Нет, это была не зависть, а недоумение перед тем, что не укладывается в рамках обычного сознания. И Пушкин, понимая это, иногда позволял себе оценивать творчество князя весьма снисходительно, даже в присутствии малоизвестных ему людей. «Одоевский тоже пишет фантастические пьесы», — произносил поэт с неподражаемым сарказмом и улыбался, показывая весь ряд своих прекрасных зубов.

Тягаться с Пушкиным было Одоевскому не по силам, но его неповторимый голос всё-таки был слышен в хоре российских литераторов. Но мало кто из окружения князя знал, что он замыслил нечто неслыханное, что могло поспорить с пушкинской прозой. Этим замыслом он поделился с Николаем Гоголем, и тот весьма одобрительно оценил задуманные князем «Дом сумасшедших» и «Жизнь и похождения Гомозейки», в создании которых отводилось не последнее место отчиму Одоевского — бывшему подпоручику Сеченову, который с помощью пасынка вступил на государственную службу и корреспондировал Владимиру Фёдоровичу о своих подвигах на полицеймейстерской должности в Саранске.

Письма Сеченова для Одоевского — человека городского и кабинетного — были неиссякаемым источником знания провинциальной жизни и давали писателю массу сведений, по большей части комичных и сатирических, которые ложились в тексты без всякой обработки, да и сам отчим смотрелся в переписке с пасынком фигурой, которая не могла не заинтересовать проницательного Гоголя, тот был в курсе творческих исканий Одоевского и с удовольствием знакомился с «нравоописательными» посланиями саранского полицеймейстера, вообразившего себя преобразователем российских порядков.

### Глава 3

Павел Дмитриевич заботливо усадил девицу Кравкову в возок, укутал её ноги войлоком, уселся сам и крикнул ямщику, чтобы тот поторапливался. Ямщик засвистел, заулюлюкал, пугая собак, лошади всхрапнули, бубенчики зазвонили, зашаркали, возок закрипел деревянным остовом, в отверстия потянуло струями морозного воздуха, и они понеслись по тракту к Симбирску.

Сеченов всегда считал, что имеет полное основание быть недовольным своей судьбой. Всё бы могло быть иначе, не связись он с этой Одоевской. Княгиня?.. Дочь прапорщика, на что смотрел князь Фёдор Сергеевич, когда вёл её к алтарю — обычная просвирня, ей семечки лузгать на Арбате, а не княгиней величаться. Князь Фёдор пожил недолго, оставил сыну Владимиру и супруге полтычи крепостных, три деревни, отягчённые долгами. Екатерина Алексеевна сына сразу после смерти родителя спихнула в благородный пансион, так он там, бедный, и маялся до окончания университетского курса.

Как раз в эти годы Сеченова, подпоручика Одесского полка, с позором изгнали из армии за нечестную картёжную игру, к коей тот был весьма пристрастен. Бывшие товарищи порядочно отдубасили мошенника и вынесли общее решение: запретить Сеченову носить красу и гордость полка — усы с подусниками. Пришлось Павлу Дмитриевичу всю оставшуюся жизнь выполнять этот нелепый приговор. В Москве, где он по большей части обитал, был велик риск натолкнуться на бывшего сослуживца и получить оплеуху с последующим распубликованием своей биографии в новостях московских сплетниц. Вот и пришлось Сеченову допустить на своё лицо в виде растительности только бакенбарды, из-за которых его часто принимали за шведа, а то и того хуже — француза, о которых память в народе осталась самая неприятная и язвительная.

Вышел Сеченов из полка без денег, без усов, остался один путь — жениться на богатенькой вдовушке. На «ярмарке невест», в Москве, беспризорным Сеченов пробыл недолго. Его заприметила некая Зотова, которая взяла на себя добровольную обязанность устроить счастье Екатерине Алексеевне, весьма изнывавшей в своей усадьбе Дроково, мучаясь неясными томлениями и предчувствиями. Вскоре Павел

Дмитриевич был ей представлен и по достоинству оценён. Он толково рассуждал о хозяйстве, горячо хвалил её сбачек, цветочные клумбы, птичник, пчельник, ораву незваных гостей и приживалок.

Отставной подпоручик верно оценил обстановку: трёх дней ему хватило для решительной победы над прелестями Екатерины Алексеевны. Бывшая княгиня неосторожно пригласила ухажёра в свой будуар, чтобы показать журнал известного виршеплёта князя Шаликова и свои вышивки гладью; отставной подпоручик решил, что это сигнал к сдаче неприступной фортеции и действовал по-суворовски смело и решительно. Впоследствии, вспоминая медовый месяц, Сеченов плотоядно облизывался, как кот, обожравшийся сметаны. Екатерина Алексеевна была дамой в соку, а княжеский титул придавал замоскворецкой мещанке ароматическую пикантность недоступного для большинства смертных диковинного плода, который удалось только ему, Сеченову, попробовать.

Екатерина Алексеевна жаловалась своему благоприобретённому супругу, что в первом своём муже она имела верного друга, но знатная родня её не жаловала, подумаешь — Рюриковичи! А посмотреть на их породу, так все квёлые. Володенька родился тщедушненький, недоношенный, его завёртывали в горячую шкуру, снятую с только что убитого барана, штук тридцать баранов на лечение извели. Младенца купали в бульонных и винных, из белого вина, ваннах. Всё это Екатерина Алексеевна нащёптывала Сеченову под турецким балдахинем в спальне, уверенная, что наконец-то обрела в его лице и счастье, и ощущение полноты жизни.

Весь медовый месяц жизнь в Дроково кипела ключом, молодые давали гостям парадные обеды, устраивали маскарады и представления живых картин, катания на лодках по Яузе с песенниками, и этого месяца Павлу Дмитриевичу вполне хватило, чтобы разобраться во всех хозяйственных делах и оценить окружение своей суженой. По здравому рассуждению, он решил, что весь этот каждодневный праздничный бедлам нужно прекратить, и это ему удалось сделать. Сеченов прогнал всех приживалок; дворовых прихлебателей — артистов живых картин, парикмахеров, официантов и прочих бездельников — отправил в деревню заниматься крестьянской работой. Он полновластно стал распоряжаться деньгами супруги, наследный князь, будущий замминистра внутренних дел Российской империи, величал его папенькой и отказался от своих законных прав на имение Дроково. Лет через пять отчим уговорами и лестью побудил князя Владимира уступить ему право на другое имение, которое деятельный Павел Дмитриевич продал и за двадцать тысяч рублей купил поместье в Симферопольском уезде и оформил его документально на своё имя как благоприобретённое.

С годами присущая Сеченову гордыня приобрела черты гротеска и фарса, он стал помышлять о государственном поприще и для начала требовал от пасынка исхлопотать ему у императора Николая I звание камер-юнкера. «Родилось пресильное желание быть камер-юнкером, — писал он князю в Петербург, — употреби все свои средства и тем самым сверши желаемое».

Неугомонному Павлу Дмитриевичу стало тесно в подмосковной деревне, он жаждал приблизиться к престолу, жить в столице, являться на балы, где бывает царская семья, претензии его нрава приобретали всё больший размах. Отставной подпоручик забыл, что он изгнан из полка, лишён усов, ограбил жену и добродушного и наивного князя, он видел себя придворным. Что дальше?.. Член Государственного совета, министр?.. Князь этого письма друзьям не показывал, это бы значило выставить самого себя на посмешище, но как литератор сделал открытие — вот он нередкий тип русской жизни! Так появились наброски о Модесте Гомозейке, о котором узнает Пушкин и будет поощрять Одоевского к продолжению жизнеописания ничтожного вряля и прохвоста, обременённого нешуточными амбициями.

Молчаливый отказ князя в протекции при дворе уязвил Сеченова, он нарушил зарок и начал играть в карты, стал требовать у Екатерины Алексеевны духовную в свою пользу на усадьбу. Письма матери к сыну открывают новые грани неугомонного нрава Павла Дмитриевича. Бывшая княгиня, вкусившая некогда сладостный плод «светского тона», стала подвергаться физическим нападениям обожаемого супруга... «Начал меня кусать, искушал щёки, не знаю, как я сохранила нос. Умоляю, поддержи меня!»

Павел Дмитриевич этимнисколько не смущался, а наседа с требованием доставить ему место чиновника по особым поручениям при московском губернаторе. Когда это ему не удалось, то он стал метить в городничие и бесцеремонно навязывал этот проект несговорчивому пасынку. Наконец Сеченов получил место полицмейстера в Саранске, уездном городе Пензенской губернии.

Князь Одоевский получал безграмотные депеши отчима из Саранска и был премного ими доволен, но не как свойственник бузотёра-полицмейстера и государственный чиновник высокого ранга, а как литератор. Благодаря Сеченову он мог из петербургского кабинета наблюдать жизнь уездного городка во всех её

проявлениях. Всё тщательно им собиралось, сортировалось, обдумывалось, чтобы потом войти в «Жизнь Гомозейки». К сожалению, эту книгу Одоевский не написал, но князь был знаком с Гоголем и посвящал его в похождения своего отчима. Невозможно утверждать, что Ноздрёв из «Мертвых душ» списан с Сеченова, подобных типов на Руси и сейчас хоть пруд пруди, но для писателя иногда важна пусть и случайная подсказка, в каком направлении ему следует работать, и саранский полицмейстер вполне мог такой подсказкой быть. Очень уж он простодушен и откровенен в своих письмах, так бесконечно уверен в своей правоте, что ему никакой другой дороги не было, кроме как в литературное бессмертие.

#### Глава 4

В Саранске утомлённый беспокойной службой и тупостью обывателей, Павел Дмитриевич встретил родственную душу — помещика Метальникова. Случилось это на свадьбе у купца Ивана Паулкина, который женил сына и пригласил полицмейстера осчастливить своим присутствием это торжественное событие. Купец чтит установленные правила, приглашать явился с подарком — четырёхфунтовой головой сахара и большой жестяной коробкой китайского чая, любителем которого полицмейстер успел себя зарекомендовать среди купеческого круга, где ему приходилось по большей части вращаться.

За свадебным столом почётные места Сеченова и Метальникова оказались рядом. Полицмейстер довольно быстро присмотрелся к соседу и определил его как добропорядочную личность. Этой положительной оценке способствовало то, что помещик не гнался за модой, был одет в сюртук мышинного цвета из добротного русского сукна, нюхал табак, сморкался в огромный чёрный платок и тонким для объёмистого мужчины голосом осведомлялся:

— Я не обеспокоил вашу милость?

Во время перемены блюд, отягчённый половиной жареного поросёнка, Сеченов встал из-за стола и вышел в сад подышать свежим воздухом. Вскоре появился и Метальников, они отрекомендовались друг другу, помещик достал свою драгоценную коробочку с нюхательным табаком и предложил Сеченову.

— Не пользуюсь.

— А зря, зря... Государыня Екатерина Великая любила понюхать табачку и всё приговаривала, что очень это полезно для нервов.

— У меня нервы крепкие, — сказал полицмейстер. — Крепче, чем у всех этих саранцев!

Метальников всплеснул руками и расхохотался.

— Что вы хохочете? Разве я сказал что-то смешное?

Помещик вытер платком наслезённые глаза и запротестовал:

— Нет, нет! Я не над вами смеюсь. Уж очень любопытно и верно вы назвали местных обывателей. Действительно — саранцы. На улицах в потёмках нет проходу от собак и спящих коров. Я вчера поехал к знакомому играть в карты. Вышел из коляски, запнулся и руками угодил в горячую навозную жижу. Представляете, какой из меня получился визитёр!

— Я это сразу попытался истребить. Запретил коровам спать на улицах. Проучил кое-кого легонько. Жалуются городничему, дескать, нет такого закона, чтобы коровам на улице не валяться, свиньям в лужах не елозить. Вот и совладай с ними!

— Народ здесь трудный, тугодумы. А навоз под обеденным столом — дело для них привычное.

— Ведь я не грубиян. Я подхожу к каждому культурно, обходительно — не понимают! Вот сейчас все печи запечатаны, так нет, снимают печати и топят, холодно, видите ли!

Они помолчали. Затем Метальников взял Сеченова за обе руки и проникновенно произнёс:

— Приятно познакомиться с таким мыслящим человеком, как вы! А знаете что, дорогой Павел Дмитриевич, через два месяца в первое воскресенье декабря мы отмечаем день рождения моего сына Серёжи. Непременно приезжайте по зимнему первопутку. Я вас познакомлю со своим тестем Иваном Петровичем Кравковым, владельцем ардаговской Репьёвки. Широкой души человек! Уникальный мыслитель, англоман, сколок, можно сказать, с вельмож прежних времён. Род его весьма древний, пращур Ивана Петровича был одним из первых воевод Симбирска.

Сеченов был большим любителем погостевать в домах людей значительных и богатых, поэтому дал своё согласие, которое его ни к чему не обязывало. Обещать Павел Дмитриевич любил, но если бы в тот момент он знал, к чему приведёт случайное знакомство с Метальниковым, то бежал бы от него сломя голову.

Осень года была для Сеченова хлопотной. Сначала ждали губернатора Панчулидзева, самого великого в то время в России взяточника. Личного общения и соприкосновения с ним Павел Дмитриевич благополучно избежал, но был опалён ужасом, который, казалось, источала его властвующая особа. Не будь этой обездвиживающей всех двуногих ауры, Павел Дмитриевич не преминул бы напомнить о себе как о родственнике товарища министра внутренних дел и обратить внимание Панчулидзева, что он достоин большего, чем скромная должность полицмейстера, но удержался от соблазна, возможно, и зря, поскольку судьба уже намеревалась определить ему нештучные препятствия в самые ближайшие месяцы его жизни.

После отъезда Панчулидзева, Сеченов написал несколько слёзных писем пасынку, умоляя и требуя предоставить ему место городничего, ибо полицмейстерство предполагало подчинение, а городничий, по его мнению, был облечён полной властью, и это позволило бы ему послужить обществу с большей отдачей. У него, сообщал он князю, появилось много идей по улучшению жизни обывателей, некоторые предполагаемые им нововведения описывал подробно, и эти письма весьма потешали Владимира Фёдоровича. И, несмотря на курьёзный характер отчима, он исхлопотал ему должность городничего в Сызрани, ввиду своих литературных планов, наверное, Одоевскому захотелось посмотреть, как себя проявит Павел Дмитриевич в должности главного администратора Российской империи.

Занятый своими хлопотами, Сеченов и думать забыл о приглашении Метальникова. Он упаковал свои вещи, нанёс прощальные визиты, получил от обывательского общества на память о своей скоротечной полицмейстерской службе фунтовый серебряный кувшин, выправил подорожные документы и деньги, тут явился мужик и передал ему письмо от случайного знакомого Метальникова, которое заключало в себе повторное приглашение на именины сына Серёжи. Сеченов глянул в окошко: во дворе стоял санный возок, запряжённый парой игреневого лошадак. Куда спешить, подумалось ему, заеду в Репьёвку, посмотрю, как живут и празднуют симбирские помещики.

Выехали рано утром и к вечеру добрались до ардатовской Репьёвки, довольно большой деревни, расположенной на пологой возвышенности. Внизу чернела в белых снегах незамёрзшая речка, а за ней стеной стоял густой и хмурый лес. Господский дом находился чуть в стороне от деревни на южной стороне склона, окружённый лиственными и хвойными деревьями. К нему вела узкая очищенная от завалов снега дорога, и, подъезжая, Сеченов увидел, что на крыльце стоит и машет руками Метальников. Они крепко, до хруста в спинных позвонках, обнялись и расцеловались.

— С приездом, любезный Павел Дмитриевич!

— Со встречей, драгоценный Модест Климентьевич!

Слуга подхватил баул и тюк с вещами, и Метальников повёл гостя по коридору в отведённые ему покои. Поселили Павла Дмитриевича в двух сообщающихся между собой комнатах, в одной была спальня с широкой кроватью, периной и двумя пуховыми подушками, другая представляла собой нечто вроде комнаты для отдыха. Здесь имелся шкаф с десятком книг, небольшой стол, комод, зеркало, умывальник и, наконец, большое покойное кресло для отдыха и раздумий, покрытое клетчатым шотландским пледом.

— Располагайтесь, Павел Дмитриевич! Сбор в зале на ужин объявляет колокол. А это Ванюша, мальчик для услуг.

Метальников вышел, и Сеченов послал Ваню за горячей водой, он вдруг обнаружил, что не брит, а отрекомендоваться у Кравковых он хотел столичным франтом. Сеченов открыл баул, развязал тюк, достал оттуда тёмно-вишнёвый фрак, спрыснул его изо рта водой и повесил отвешиваться. Затем он намылил щёки и приступил к бритью, удаляя растительность вокруг бакенбард. Щетина на верхней губе была суха и жестка и каждый раз напоминала о полковом позоре. После бритья Павел Дмитриевич обильно облил себя кельнской водой, которой пользовался в особо торжественных случаях. Оглядев себя ещё раз в зеркале, надел узкие штаны со штрипками, тонкую рубашку из голландского полотна с остроконечным воротничком, приладил к кадыку высокий атласный галстук на пружинах и, приказав слуге прибраться, сел в покойное кресло.

Где-то в глубине дома три раза ударил колокол. Сеченов надел фрак, сдул с рукава пёрышко и вышел в коридор. Навстречу ему спешил Метальников. Он подхватил Павла Дмитриевича под руку, провёл через анфиладу комнат, и они вступили в ярко освещённый зал с наборным полом, оббитыми штофными обоями стенами, на которых висели несколько портретов предков владельца Репьёвки.

Модест Климентьевич отрекомендовал Павла Дмитриевича как своего сердечного друга, выдающегося администратора и подмосковного землевладельца. Затем подвёл к хозяину, Ивану Петровичу Кравкову, старику лет шестидесяти с резкими чертами лица, которые на Руси встречаются у мыслителей провинциального масштаба и запойных пьяниц. Кравков был одет по старинке, в камзол сине-чёрного цвета, под которым торпорило бесчисленными складками жабо, и в жёлтые штаны. Старик изучающе

посмотрел на гостя и приветливо произнёс:

— Мы живём просто, Павел Дмитриевич! Всё у нас русское, я раньше порядочно знал и по-французски, и по-английски, но, слава богу, забыл. Вот дочка Варвара Ивановна та по-французски чирикает, книжки почитывает, журналы новомодные. А это моя надежда, сын Дмитрий Иванович, корнет корпуса инженерных сообщений. Подойди, Митя!

К Павлу Дмитриевичу подошёл корнет и неожиданно резко спросил:

— В каком полку изволили служить?

— В Одесском пехотном, отставной подпоручик, — ответил Сеченов и внимательно посмотрел на молодого человека. Митя был высок ростом, широкогруд, но всё равно в нём чувствовалось какое-то нездоровье, он был излишне резок в движениях, беспрестанно сжимал пальцы в кулак, слегка выпуклые чёрные глаза вспыхивали лихорадочным блеском, стоило ему произнести или услышать в свой адрес самую незначительную фразу.

Иван Петрович встал со стула и подвёл Сеченова к юной девице, которая при их приближении потупилась и залилась румянцем.

— Дочь моя Варвара Ивановна! Вы с ней сами лучше познакомитесь, если интересуетесь французскими романами и этими стихоплётами, как его там... Шаликов, что ли!..

Павлу Дмитриевичу вспомнилось увлечение жены стихами московской знаменитости, и он поспешил вернуть тут же приготовленное враньё.

— Я имею честь быть лично знакомым с князем Шаликовым ещё тогда, когда он начинал свой ныне известный «Дамский журнал». Князя вся Москва знает, это большой оригинал. Стоит ему появиться на Тверском бульваре со своей записной книжкой, а он сочиняет свои вирши на ходу, как за ним немедленно устремляется толпа народа. Но князь ничего вокруг себя не замечает, бормочет какие-то выхваченные им только сейчас у музы поэтические строки, то идёт быстрым шагом, то остановится, распахнёт книжку и на ней что-то запишет...

— Ах, как я люблю стихотворцев! — воскликнула Варвара Ивановна.

— Будет, егоза, будет! — остановил дочь Иван Петрович и указал на стоявший рядом с ней пустой стул. — Это ваше место, Павел Дмитриевич.

Старик не подумал представлять гостю остальных домочадцев: супругу, которая сидела в чепце с поджатыми губами, старшую дочь, жену Метальникова, молодого человека, явно недоучившегося семинариста, и старую приживалку.

День был постный, пятница, но в Репёвке не блюли церковные запреты: на стол подали жареного гуся с яблоками, сыр, паштеты, куриный бульон и большой пирог с грибами. Покупных вин не было, угощались своими домашнего изготовления наливками, настойками и запеканками. На отдельном столе ждал своего часа готовый самовар.

За столом ничего значительного сказано не было, за исключением яростной филиппики Ивана Петровича против Сперанского. При императоре Павле служивший в Семёновском полку прапорщиком Кравков был уволен по вздорному поводу со службы. По протекции графа Палена определился секретарём в Сенат, за десять лет выслужил чин надворного советника, но грянула печальной памяти административная реформа 1809 года, придуманная фаворитом императора Александра I графом Сперанским. От чиновников потребовали сдачи экзаменов по словесности, правоведению, истории отечественной и зарубежной, математике и физике. Получивший домашнее образование у сельского священника и беглого француза Кравков дважды попытался сдать экзамены в комиссии профессоров петербургского университета на выслуженный им чин статского советника, но был отсеян, после чего обиделся и уволился со службы.

Со времени требования реформы были ослаблены, но сдача экзаменов не отменена. Сеченов поступил на статскую службу с чином двенадцатого класса губернского секретаря, что соответствовало его армейскому званию подпоручика. Следующий чин он думал получить, минуя экзамены, при помощи князя Одоевского и в этом был твёрдо уверен.

Павел Дмитриевич заметил, что домочадцы выслушали речь Ивана Петровича, уткнувшись в тарелки, только на лице жующего гусиную ногу Мити блуждала развязная гримаса. Сеченову стало понятно, что положение отца семейства не такое прочное, как могло показаться с первого взгляда, просто при госте из столицы все сдерживались и не вели себя обычным образом.

Отказавшись от чая, Кравков пригласил гостя в свой кабинет.

— Вот моё убежище! — сказал Иван Петрович, усаживая Сеченова в покойное кресло. — Вы, надеюсь, заметили, что за столом было одно притворство. Я обычно к ним не выхожу, но зять сегодня упросил меня ради вашего приезда. Модеста

Климентьевича я люблю — простая душа. Об остальных судить не могу, они мои кровные. Впрочем, разберётесь сами. А пока призовём утешительницу!.. — Кравков отпер ключом дверцу дубового шкафа и вынул оттуда серебряный поднос, на котором стоял штоф и две чарки. — Я совсем не против образования, — сказал Иван Петрович, наполняя чарки. — Я против глупости! Приглядитесь к России: во всех сословиях, будь то аристократия или крепостные, едва ли найдётся одна сотая часть тех, кто обладает здоровым умом. Остальные опутаны химерами, условностями, привычками, страстями и пороками.

— Истинно так, Иван Петрович! В Саранске я убедился, что обыватели не понимают своего блага. Я запретил коров на ночь оставлять на улице, не понимают!

— А вы думаете, у меня в деревне порядок?.. То же самое, грязь, нечистоты, отсюда болезни, ранняя смерть. Приехав в Репьёвку, я обошёл все крестьянские дворы, и только в двух подворьях и избах было чисто. Вот считайте — из пятисот душ только двое мужиков понимали, что жить чисто — значит быть здоровым. Долго рассказывать, как я боролся с грязью, даже порол, и это не помогло. И решил подвести под свои требования к чистоте несомненные доказательства. Купил микроскоп, собрал с десяток уважаемых стариков и дал им заглянуть в каплю навозной жижи, которую можно найти в каждой избе. «Шевелится! Ох, страсти!..» — испугались старики, а я им объясняю, что это живая нечистота, которая их ест самих. Вроде согласились, но тут же нашли причину жить по-прежнему. «Барин! А эти крохотульки божья тварь?..» — «Конечно, — говорю, — всё живое на земле божьи твари». — «Тогда их уничтожить грешно», — заявили старики. Вот и поспорь с ними...

— А что я увидел в Саранске?.. Царство непросвещённого разврата, пустоту высших устремлений, прозябание опустившихся личностей!

Иван Петрович уже опрокинул третью чарку, а Сеченов едва выпил половину начальную. Хозяин заметно захмелел.

— Всё живое стремится к уюту. Смысл жизни — прожить её уютно, но редко кому это удаётся. Мне уютно в моём кабинете беседовать с Павлом Дмитриевичем, мужику уютно в грязной избе ругаться с бабой, Диогену в бочке было уютно. Хочешь быть счастливым — организуй свой уют. Когда люди безуютны, то случаются революции...

Оставив заснувшего Ивана Петровича, Сеченов тихонько вышел в коридор, прикрыл дверь и пошёл к себе. Широкая кровать была разобрана. Павел Дмитриевич с облегчением освободился от фрака, который стал ему тесноват, щёлкнул пружинками, снимая галстук, и вдруго почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он резко обернулся, и тут же его колени обвили нежные руки девицы Кравковой.

— Павел Дмитриевич, я знаю, вы благородный человек! Моя жизнь в ваших руках! Я несчастна! Я страдаю! Моё спасение — уйти в монастырь!

— Успокойтесь, Варвара Ивановна! — перепугался Сеченов. — Что происходит?.. Разве я могу вам чем-то посодействовать? — он помог девице встать с пола, усадил в кресло. — Рассказывайте.

Варвара Ивановна промокнула слёзы платочком, вздохнула и таким жалобным взглядом посмотрела на Сеченова, что сердце бывшего саранского полицмейстера вмиг растаяло от сочувствия к несчастной девице.

— Я люблю князя Романа Асатиани, но мама и брат решительно против нашего брака. Два дня назад здесь произошла ужасная сцена. Митя побил князя, затем травил собаками... Вчера я получила от него записку, вот!

Она протянула Сеченову листок бумаги. Павел Дмитриевич подошёл поближе к свече:

*«Бесценная Варенька!*

*Стреляться с Дмитрием Ивановичем я не могу, потому что он твой родной брат. Но и мой позор невыносим, поэтому я уезжаю, сначала в Петербург, а затем, скорее всего, в Америку. Письмо пишу на почтовой станции, тройка уже меня ждёт. Желая счастья!*

*Роман Асатиани».*

Сеченов вернул записку девице Кравковой и в глубокой задумчивости начал мерить шагами комнату. «Блажит девица», — решил он, но вымолвил другое, поскольку в решительных ситуациях мысли начинали толпиться в его голове, как мухи над сахаром.

— Торопиться не следует. Утро вечера мудренее.

— Я знаю, вы благородный человек, не чета другим, которые всё толкуют о скоте и мужиках, а возвышенного не приемлют. Монастырь для меня не могила, а светлый путь к будущей жизни. Помогите мне, благородный Павел Дмитриевич!..

Утром он проснулся от яркого луча солнца, бившего ему прямо в глаза. На столике стоял накрытый льняным полотенцем завтрак, а рядом на стуле сидел Ваня, который, увидев, что гость проснулся, вскочил на ноги.

— Ну, Ванюша, рассказывай, что тебе приснилось?

— Двугривенный. Будто упал из рук на пол и покотился, покотился, потом в щёлку — нырк!

— Ага! Значит, потерял. Ничего, мы его сейчас найдём. Поддай-ка мне вон ту кожаную сумку, запомни — это портфель.

Получив двадцать копеек, Ваня, за неимением карманов, сунул его за щёку. Сеченов пальцем поманил его к себе и спросил:

— Ты Варвару Ивановну любишь?

— Люблю. Она добрая барышня, не ругается. А молодой барин дерётся, таскает за волосы.

— А что у вас тут было недавно? Шум, драка...

Ваня приблизился к Сеченову и, жарко дыша, зашептал:

— Варвара Ивановна и князь Роман просили у барыни согласия на брак. Но барыня как закричит — поди прочь, голодранец! Тут и молодой барин подскочил, пнул жениха, потом ружьё схватил.

— Понятно. А что, барина так и не спросили?

— Его здесь не слушают. Он из кабинета месяцами не выходит.

Павел Дмитриевич убедился в правдивости слов Варвары Ивановны и проникся к ней жалостью. Мамаша и сынок предстали перед ним бессердечными людьми, погубившими счастье влюблённых. Хотя сам Сеченов постоянно совершал жестокие поступки, какой-то частью своего характера он был сентиментален, иногда позволяя себе увлечься высокими порывами, благородными и чувствительными идеалами, всем тем, что пел стихами его мнимознакомый князь Шаликов на страницах своего «Дамского журнала». Конечно, усилием воли он бы мог стереть эти черты своей природы, но ему нравилось выступать в роли утешителя и сострадателя чужому горю. В этом была тонкая, ведомая только ему острота и сладость, которые он тщательно хранил и лелеял, любуясь собой и своими поступками, хотя они бывали порой весьма рискованными.

— Ванюша, — сказал он, — сходи к Варваре Ивановне и спроси, сможет ли она показать мне стихи князя Шаликова. Но, может быть, она ещё почивает?

— Нет, барышня с утра на ногах.

— Так ступай.

Сеченов быстро поднялся, умылся и оделся в то же, что и вчера. Вскоре появился посланец и сказал, что его ждут. Варвара Ивановна встретила его на пороге, бледная и печальная, с евангелием в руке.

— Я вам помогу, — сказал Павел Дмитриевич, — хотя это может повредить моему положению сызранского городничего.

Кравкова схватила красную и волосатую руку «спасителя» и осыпала жаркими поцелуями, а Сеченов стал увещать её проверить своё решение, представить тяжесть монашества, скорбь родных. Он говорил, что их тайный отъезд вдвоём может вызвать злоязычные толки, что, возможно, родные от неё отрекутся и проклянут. Но беглянкой всё это было обдуманно, взвешено и решено в пользу самозаточения в монастырь.

На дне рождения Павел Дмитриевич чувствовал себя как на иголках. Гости, несколько окрестных помещиков с жёнами, бурно веселились, стучали вилками, ножами, громко чавкали и звенели посудой. Сначала было вроде бы благопристойно: Варвара Ивановна спела романс по-французски, затем по-русски, Серёжа прочитал две басни дедушки Крылова, Дмитрий Иванович, аккомпанируя себе на клавесине, исполнил довольно приличным баском несколько гусарских баллад Дениса Давыдова. Однако коварное вино домашнего изготовления делало своё дело: появились песенники из деревни, плясуны, засипели дуделки, зарычали рожки, зачастили бала-лайки, и началась пляска с выкриками, свистом и визгом. Затем все повалили во двор, и пошло валяние в снегу, перестрелка снежками и катание с ледяной горки.

Павел Дмитриевич во всех этих бесовских безобразиях не участвовал, он был во власти ожидания и тревоги перед свершением героического поступка. К нему подошла Варвара Ивановна.

— Теперь вы понимаете, почему я желаю уйти в монастырь?

— Положитесь на меня, Варвара Ивановна, и уповайте на удачу. Ровно в полночь я буду ждать вас на дороге. А сейчас мне нужно собрать вещи. Ещё час-другой, и все угомонятся. Настойки вашей матушки кого хочешь с ног свалят. Кстати, есть ли у вас деньги? В монастыре благосклоннее относятся к тем, кто делает вклад.

— У меня есть тысяча рублей золотом, тётушкин подарок.

— Думаю, и половины этой суммы будет достаточно, остальное удержите при себе.

Веселье продолжалось до позднего вечера, наконец, гости разошлись по комнатам, некоторые уехали, и в доме наступила тишина. Варвара Ивановна взяла узелок с

самыми необходимыми вещами и окинула взглядом комнату, где прошли её детство и юность. Её взгляд остановился на «Дамском журнале», она вздохнула и вышла из дома.

## Глава 5

Штаб-офицер Корпуса жандармов подполковник Эразм Иванович Стогов выбрал местом своей службы Симбирскую губернию по той причине, что в ней не проживали и не служили близкие ему люди. Это решение понравилось графу Бенкендорфу, тем более что начинающий карьеру жандарм попросил у него наставления, как достигать цели, исполняя свои, порой щекотливые, обязанности и не погрешить при этом против нравственности. Граф не задержался с ответом и повторил Стогову сентенцию, которую в своё время получил сам от императора Николая Павловича, когда обратился к нему с точно таким же вопросом.

— Ваша обязанность, милостивый государь, заключается в том, чтобы утирать слёзы людей несчастных и предотвращать злоупотребления властных особ и тем содействовать пребыванию общества в согласии. Постарайтесь, чтобы дворянство вас полюбило, и вы всего достигните.

— Ваше сиятельство, — Стогов робко глянул на всесильного шефа жандармов. — Общество играет в запрещённые правительством карты, должен ли я этому мешать?

— А вы любите играть? — остро глянул на Стогова граф.

— Я к картам равнодушен.

— Тогда я вам позволяю играть в банк до пяти рублей. Но вы не должны обыгрывать зелёную молодость и хранителей казённых сумм. И придерживайтесь утверждённой мною инструкции. Вы с ней ознакомились?

— Я, ваше сиятельство, знаю её наизусть, — почтительно доложил Стогов и выдержал недоуменно-насмешливый взгляд Бенкендорфа.

— Даже так? Хорошо-с! Тогда повторите последний абзац.

— Впрочем, нет возможности поименовать здесь все случаи и предметы, на кои вы должны обратить внимание, ни предначертать вам правила, какими вы во всех случаях должны руководствоваться; но я полагаюсь в том на вашу прозорливость, а более ещё на беспристрастие и благородное направление образа ваших мыслей, — с чувством доложил подполковник заключительную часть служебной инструкции, заметив, что шеф весьма благожелательно на него поглядывает.

— Вот и славно! — тепло вымолвил граф и протянул штаб-офицеру узкую ладонь.

— Жду от вас точных и исчерпывающих донесений.

Путь от Петербурга до Симбирска не показался Эразму Ивановичу долгим и утомительным, потому что несколько месяцев назад он совершил гораздо более длительное путешествие из Иркутска до столицы империи, а до этого долго служил в Охотском крае и на Камчатке, где освоил все доступные способы передвижения, от собачьих упряжек до корабля, которым ему довелось как морскому офицеру успешно командовать.

Возвращение в Петербург поставило Стогова перед выбором, в каком направлении продолжать карьеру. Из всех служб только жандармская выгодно отличалась от прочих солидным денежным содержанием и давала возможность получить нравственное удовлетворение.

«Утирание слёз», провозглашенное самим императором, после разгрома дворянского бунта на Сенатской площади декларировалось им всерьёз, и жандармы первого набора отнюдь не были держимордами. Голубой мундир тогда носили многие образованные и порядочные люди, но со временем система сыска, в основе которой всегда лежат провокация, подгляд, подслух, превратила Корпус жандармов в заурядное сыскное ведомство. Стогов же пришёл в пору жандармского идеализма, когда штаб-офицеры, участвовавшие взыдыхая, утирали слёзы родственникам каторжан-декабристов, и только умница, по определению Пушкина, фон Фок, лишённый предрассудков, терпеливо плёл сеть из доносчиков, провокаторов и платных агентов, которой для начала опутывал светское общество обеих столиц Российской империи.

Стогов, несомненно, числил себя среди людей порядочных, но в жандармы он попал инициативно-явочным порядком, через барона Шиллинга, которому якобы случайно проговорился о своём желании сменить место службы. Но так ловко проговорился, что уже через день беседовал с генералом Дубельтом и получил от него вожделенное приглашение определиться в жандармы.

Перед отъездом Эразму Ивановичу выплатили прогонные, столовые и квартирные деньги, а также жалование за полгода вперёд, и, не простившись со старыми флотскими приятелями, для которых стал отрезанным ломтем, он отбыл к месту прохождения службы. Прибыв в Симбирск, Стогов был приятно удивлён, что в его распоряжении оказался добротный дом неподалеку от губернаторского дворца и других администра-

тивных учреждений провинции.

Когда Стогов подъехал к своей резиденции, было уже сумеречно, но канцелярия светилась двумя окнами, и скоро к кибитке, из которой выходил облачённый в доху из камчатских песцов подполковник, подбежал служивый человек и, мигом оценив, кто явился, возбуждённо-радостно возгласил:

— Мы уже вас, ваше высокоблагородие, заждались!

Стогов не ответил и, только когда из кибитки был извлечён кожаный баул с деньгами и служебными документами, обратил внимание на встречавшего его жандарма:

— Кто будешь таков?

— Старший канцелярист унтер-офицер Сироткин, ваше высокоблагородие!

— Ты что разорался, как боцман? Запомни: в моём присутствии изволь говорить внятно, но тихо.

— Так точно: внятно и тихо, — хрипнул Сироткин.

— Займись вещами и организуй баньку.

Полковник Маслово, предместник Стогова, выдрессировал свою команду, и всё по прибытии нового штаб-офицера сделалось скоро и словно само собой. Из дома выбежал второй канцелярист, и вещи мигом были перенесены на жилую половину дома, где Эразм Иванович подивился тому, что в нём не осталось следов от прежних жильцов: были освежены свежей охрой полы, а голубой краской — подоконники и рамы, на стены недавно наклеены свежие обои, в кабинете и зале — штофные, а в спальне — с пастухами и пастушками. Стогов порадовался чистоте и порядку и отнёс это на счёт Маслово, но ему мягко возразил Сироткин, который доложил, что обновление покоев произведено за счёт средств лица, пожелавшего остаться неизвестным, от него же поступили пять возов берёзовых дров, шесть кулей овса и три воза сена.

— Стало быть, некое лицо пожелало остаться неизвестным? — усмехнулся Стогов.

— Так точно, ваше высокоблагородие, — доложил Сироткин. — Явилась артель, в один день всё сделали и скрылись без следа.

— Налицо взятка, — резюмировал Эразм Иванович. — Но кто взяткодатель и кто взяткополучатель? Остаётся надеяться, что загадочный меценат объявит о себе сам. Сейчас гораздо важнее знать, кто будет моим питателем?

— Авдей Филиппович, поди к барину! — позвал Сироткин, и на его зов скоро явился сухонький старичок, который весьма толково сумел изложить своё вечернее меню. Эразм Иванович взял повара за руку, поднес её к свече и, обнаружив, что под ногтями чисто, остался доволен.

— Показывай баню, — сказал он Сироткину. — Надеюсь, что и там так же чисто, как и здесь.

Проснувшись на следующее утро, Эразм Иванович, после недолгого размышления, решил не спешить с официальным представлением губернатору, о котором он перед отъездом навёл конфиденциальные справки у людей, знавших Загряжского по Преображенскому полку и совместной службе на гражданском поприще, и выяснил, что губернатор, вполне возможно, взятку не берёт. Зато безоглядно женолюбив, излишне разговорчив, легко впадает в панику и чрезмерно доверчив.

— Денёк-другой подождёт, — сказал Стогов в пустоту и, освободившись от простыней и одеяла, подошёл к двери: — Умываться!

Приведя себя в порядок, Эразм Иванович позавтракал и отправился в служебный кабинет, что находился рядом с канцелярией, где уже бойко строчили гусиными перьями оба канцеляриста, которые, дружно поприветствовав начальника, опять уткнулись в казённые бумаги.

В кабинете было душно и, оставив дверь полуоткрытой, Стогов уселся на жёсткое кресло перед пустым столом, выдвинул один за другим ящики, ничего, кроме хлебных крошек и сургуча, не обнаружил, подошёл к шкафу, где на полке нашёл с десяток номеров «Полицейской газеты» за 1826 год, склянку чернил и моток бечёвки.

«Надо обзавестись портретом государя-императора», — подумал Стогов и позвал Сироткина.

— Для сохранности он помещён в чулан. Принести?

— Изволь, братец. И заруби на своём рябом носу, что в чулане портрету не место.

Появление поясного портрета самодержца придало кабинету вид государственного учреждения. Стогов устроился за столом, расположил принесённые Сироткиным письменные принадлежности в привычном для себя порядке, раскрыл прошнурованную книгу входящей и исходящей корреспонденции, но за окном вдруг стало шумно. Эразм Иванович хотел глянуть на улицу, но в коридоре раздался топот, и на пороге возник жандармский поручик, который твёрдо отрапортовал:

— Жандармская команда в числе трёх унтер-офицеров и восемнадцати рядовых для представления его высокоблагородию господину штаб-офицеру Симбирского отделения Корпуса жандармов построена. Докладывает поручик Игонин.

— Скоры вы на ногу поручик, — довольно улыбнулся Стогов. — Посмотрим, кто у вас в строю.

Вдоль улицы в одну шеренгу на сытых вороных конях с подстриженными гривами и хвостами выстроились симбирские жандармы, все краснощёкие, усатые и дружно «ели» глазами прибывшее из Петербурга начальство.

— Здорово, молодцы!

Жандармы грянули ответную здравницу, да так дружно и громко, что она донеслась до губернаторского дворца и возвестила его владетелю, что в Симбирск явился государев смотритель за всем, что происходит в симбирской губернии.

Стогов медленно шёл вдоль строя, осматривая своё войско. Жандармы смотрелись крепкими и здоровыми людьми, были экипированы в светло-синие шинели с красными клапанами и погонами и белыми пуговицами. Фуражные шапки тоже были светло-синими с такими же околышами. Сапоги короткие, с светло-синими отворотами. Весь конский убор был того же жандармского цвета, с красными выпушками. Пистолетные кобуры, ножны, палаша повторяли этот цвет и были украшены серебряными накладками.

— Благодарю за службу! — объявил Стогов и приложил руку к своей фуражке.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — старательно ответили жандармы и, выполняя команду поручика Игонина, перестроились в колонну по двое и отправились на свои квартиры.

Эразм Иванович до обеда решил изучить дела, которые случались при Маслове, и пояснения ему давал старший канцелярист.

— И это всё? — удивился Стогов, перелистав тощую папку, которую положил перед ним Сироткин.

— Господин полковник не любил утруждать себя письменной работой, по правде сказать, большой интерес к делам имела его супруга. Она была так деятельна, что даже осматривала рекрутов.

— Чего же она в них искала? — недоуменно сказал Стогов.

— Авдотья Николаевна во всём находила только сплетни.

Эразм Иванович хмыкнул и похвалил себя за то, что до сего дня бог оберегает его от поспешной женитьбы. Затем встал из-за стола, подошёл к окну и, резко повернувшись, спросил:

— А кто в Симбирске сейчас самое значительное лицо, в смысле влияния?

— Разумеется, откупщик Бенардаки, — не задумываясь, доложил Сироткин. — Кстати, он просит разрешения представиться вам по случаю вашего вступления в должность.

— Он и Маслову представлялся?

— Нет, его жене, та была сладкоежкой, и господин Бенардаки отпускал ей по фунту конфетов в день.

— А что, этот Бенардаки, всем главным чиновникам платит? — лениво поинтересовался Стогов.

— Точно так.

— И по сколько?

— Вице-губернатору — двадцать тысяч ежегодно, прокурору — три тысячи, советникам — по две тысячи каждому, и сверх того всем им отпускается даром из питейной конторы мёд, пиво, вино, ерофеич.

— А что, Загряжский взятками так уж и брезгает?

— Он обыгрывает Дмитрия Егоровича в карты, по несколько раз в год, тысяч на тридцать.

Стогов испытывающе глянул на старшего канцеляриста и расхохотался.

— Хитёр, иного не скажешь!

Сироткин, довольный тем, что угодил начальнику, захихикал.

— Так и быть, — решил подполковник, — приму твоего откупщика, только скажи ему, чтобы он свои ассигнации мне не совал, а то получит взбучку.

— Что вы! — воскликнул Сироткин, уже закрывая за собой дверь кабинета. — Дмитрий Егорович большого ума человек и грубостей не позволяет.

Стогов уже кое-что слышал о Бенардаки от изобретателя электромагнитного телеграфа Павла Шиллинга, которого посетил с прощальным визитом перед отъездом в Симбирск. Барон с лёгкой усмешкой много повидавшего в жизни человека выслушал благодарности, которыми осыпал его Эразм Иванович, и промолвил:

— Деньги в нашей жизни значат многое, но зачастую всё решают не они, а связи, особенно на новом месте, где тебя никто не знает.

— Истинная правда, Павел Львович, — проникновенно произнёс Стогов. — Если бы судьба не свела меня с вами в Иркутске, то не видать бы мне штаб-офицерского места, которое теперь имею по вашей протекции.

— Не преувеличивайте моих заслуг, Эразм Иванович, — слегка порозовев от лестных слов, сказал Шиллинг. — Да, я уведомил Дубельта, что знаю превосходного моряка, который достоин носить мундир жандарма, но моей заслуги в вашем воспитании нет. Впрочем, вы невольно повторили мою мысль, что в России главное — это связи с нужными людьми. Скажите, вы знаете кого-нибудь в Симбирске?

— Я намеренно выбрал сей город, чтобы там не было моих родственников и сослуживцев.

— Похвальное решение, — одобрил барон. — Так вот, в Симбирске держит свою ставку ещё молодой годами, но большого и зрелого ума человек — откупщик Бенардаки. В нашем министерстве финансов его очень хвалят. И вы зря усмехаетесь, я слышал от самого графа Канкрин, что этот Бенардаки — делец честного склада, то есть не разоряет казну при помощи сговора с такими же мошенниками, а делает дело за довольно низкий процент, без обчёта и обвеса, как это повелось на Руси со времён Ивана Калиты.

Стогов ничего из памяти не терял, и сказанное ему бароном Шиллингом тотчас же вспомнил, когда старший канцелярист заговорил о местном откупщике.

«А ведь он явно не дурак, — подумал о Бенардаки подполковник, — если идёт ко мне прямо, без зигзагов и загогулин. Знает, что мимо меня он ничего сделать не сможет».

Дмитрий Егорович прибыл в щегольских лаковых санях, в которые был запряжён гнедой мерин. Откинув медвежью полость, Бенардаки легко выскочил из саней и прошёл на крыльцо, где его встретил младший канцелярист Жигалин и указал гостю дверь в зал, в котором у окна стоял штаб-офицер Стогов.

Испытующе взглядывая друг на друга, гость и хозяин обменялись приветствиями, и затем Эразм Иванович приглашающе указал на кожаный диван, на котором они и расположились. Дождавшись успокоения скрипучих пружин, жандарм решил не ходить вокруг да около, а попробовать откупщика на медовую наживку лести.

— Я, Дмитрий Егорович, положительно наслышан о вас в Петербурге. Оказывается, вы удовлетворили своей деятельностью графа Канкрин, а ему понравиться весьма трудно.

— Я имел аудиенцию у министра, — сказал, не моргнув, Бенардаки. — Он поручил мне сделать для казны закупки зерна. Если я чем и очаровал графа, так только тем, что согласился на цену меньшую, чем заявляли другие поставщики.

— Конечно, главное удовольствие для финансиста — это прибыль, — ласково согласился с гостем Эразм Иванович. — Но чем-то вы прищипли по душе и барону Шиллингу, он тоже вас рекомендовал как человека, на которого во всём можно положиться.

На этот раз Бенардаки посмотрел на Стогова с беспокойством, предположив, что явной лестью жандарм хочет привлечь его к негласному сотрудничеству.

— Барон, конечно, мне знаком, но не визуально, а по мнениям, которые мне доводилось слышать о нём от людей уважаемых и достойных.

Эразм Иванович понял, что промахнулся, сославшись на Шиллинга, но не смутился.

— Хорошо, вы с бароном не знакомы, но не будете же вы отрицать, что в деле государственной важности вы всегда предельно честны и откровенны.

— Можете в этом на меня рассчитывать, но дела частных лиц меня не интересуют.

— А мы про них и не вспомним, — ласково улыбнулся Эразм Иванович. — Возьмём персоны верхнего порядка. Вчера, не успев я расписаться в книге приезжих на городской заставе, как мне начали жужжать о взятках, которыми вы опутали высших должностных лиц.

Бенардаки весело посмотрел на штаб-офицера и подмигнул, сначала правым, затем левым глазом.

— О взятках мне сказать нечего. Взятки предполагают выгоду, а я выгоду имею от торговых оборотов, но не от чиновников.

Стогов с интересом посмотрел на своего визави, он ещё ни разу не встречал человека, который бы давал взятки без всякой для себя выгоды. Но Россия велика, в ней всё от бога, а у того, как известно, всего много.

— Стало быть, вы даёте чиновникам суммы по своей прихоти?

— Я, Эразм Иванович, не извращенец, чтобы поступать таким образом. Вы согласны, что правительство чиновникам не доплачивает, взять хотя бы вас?

— О себе промолчу, — нехотя сказал Стогов. — Но у многих оклады действительно недостаточны.

— Об этом и я пекусь! — воодушевился Бенардаки. — Недостаток денег портит характер любого, не только русского, чиновника. Не доплати немцу, так и он злее нашего станет. Нервный чиновник — помеха всем делам, с ним дел никаких нельзя иметь. А привести его в добродушное уmonoстроение можно известной суммой. После этого он и на людей бедных и недостойных будет смотреть снисходительно и

удовлетворит их по закону, то есть милостиво.

— По вашим словам выходит, что взятка не разрушает общество, а укрепляет? — удивился Стогов.

— Не взятка! Не взятка! — запротестовал Бенардаки. — Я оказываю вспомоществование тем, кого недооценивает правительство. И вы не догадываетесь, Эразм Иванович, сколько из них за то время, пока я живу в Симбирске, стали добрыми людьми.

— Это ещё кто такие? — подозрительно сощурился Стогов. — У вас что тут, своя табель о рангах? И что в вашем понятии человек добрый?

— В любом деле есть свой ранжир, — веско сказал Бенардаки. — Место человеку определяет мнение о нём общества. Сказано, что по делам его узнаете... Собственно, у нас существует понятие доброго человека. Это здесь тот, кто берёт большими кушами, но с разбором, то есть знает, с кого и за какое дело взять, а если возьмёт, то непременно сделает, а если не сделает, то деньги вернёт и подскажет, кому дать и сколько. Этим он приобретает себе друзей в тех, кому он нужен, потому что на него во всём можно положиться.

— Кто же тогда дурной человек? — заинтересовался Стогов. — Вы меня, право, заинтриговали, тут, Дмитрий Егорович, целая философия золочения чиновничьих ручек проглядывает.

— Всё гораздо проще, Эразм Иванович, — усмехнулся Бенардаки. — Редко, но встречаются и паршивые овцы, те, кто берёт со всякого, что попадётся, который ничего не сделает и не умеет сделать. Такого называют дурным человеком. Их все знают и стараются обойти. Но как обойти губернатора, если он дурной человек? Я не о нашем милейшем Александре Михайловиче, он знает, что он дурной человек, и взятку не берёт, чтобы не уронить своё реноме начальника губернии. Но ведь и до него на губернии бывали отчаянные мошенники.

— Тяжеленько Загряжскому себя блюсти на одно жалованье, — сказал Стогов и озорно всмотрелся в собеседника.

— Да, ему приходится непросто, — не дрогнув, ответил Бенардаки, ничем не выдав своего участия в картёжных баталиях с губернатором. — Но он как-то выкручивается.

— Интересно с вами беседовать, — сказал Стогов. — Я понял, что существуют дурные и добрые люди. Но существует, наверное, экземпляр взяточника, мне совершенно неизвестного?

— Это — прекрасный человек! — Дмитрий Егорович заулыбался, показав сахарные зубы. — Прекрасный человек здесь тот, который сам даёт взятки и сверх того поит шампанским.

— Кажется, я этого человека знаю! — весело сказал Стогов. — На весь Симбирск есть всего один прекрасный человек, и это вы, Дмитрий Егорович!

— Я бы удивился, Эразм Иванович, если б эта тайна была скрыта от штаб-офицера Корпуса жандармов, к коему я испытываю глубочайшее почтение. Позвольте мне надеяться, что я после этой встречи не утрачу своё звание?

— Что вы имеете в виду? — полюбопытствовал Стогов. — Уж не пытаетесь вы и меня осчастливить взяткой?

— Ни в коем случае! — воскликнул Бенардаки. — Вы при исполнении инструкции, начертанной государем, как я могу помыслить о неуважении к закону? У меня к вам всего лишь крохотная просьба, нет, не просьба, а одолжение, нет, я совсем потерялся...

— Говорите прямо, — поощрил откупщика Стогов.

— У меня по осени квартировал ротмистр одного из столичных полков. Как водится, задолжал мне и скрылся, оставив коня и записку, чтобы я распорядился им по своему усмотрению. Не желаете взглянуть? Вам бы он пригодился.

— Подарков я не беру, — сухо сказал Стогов.

— Разве я вам что-нибудь предлагаю? — удивился Бенардаки. — Конь очень хорош, и мне бы не хотелось, чтобы он попал к негодному человеку. Тем более цена его известна: ровно столько задолжал мне ротмистр.

Стогов ненадолго задумался, предложение откупщика было своевременным, Эразму Ивановичу хороший строевой конь был нужен, чтобы соответствовать статусу. В предложении откупщика были некоторые шероховатости, но жандарм тоже был не лыком шит, и, поразмыслив, он глянул в окно и заметил:

— Сегодня уже поздно, на дворе смеркается.

— Отложим смотр коня на завтра, — предложил Бенардаки. — А насчёт цены не беспокойтесь, лишнего я не возьму.

— В этом я не сомневаюсь, тем более что вы прекрасный человек, — сказал Стогов и поднялся с дивана. — Будете писать расписку на получение от меня денег, так включите в неё, кроме стоимости коня, и расходы, понесённые вами на ремонт моих

покоев, цену дров, словом, всё, на что потратились.

Бенардаки попытался изобразить на лице недоумение, но не выдержал и рассмеялся:

— Вы, Эразм Иванович, проницательный человек и можете во всём на меня рассчитывать.

Конец дня Стогов посвятил разбору своего багажа и всему определил своё место: недавно пошитый жандармский мундир и сопутствующие ему головной убор, ремни, шнуры и кобура для пистолета нашли место в одном отделении дубового шкафа, штатская одежда для официальных присутствий, светских выходов и приёма гостей была определена в другое отделение. Обувь, сапоги повседневные, парадные, для паркетных полов дворянского собрания, была определена в чулан. Рубахи из голландского полотна, нижнее бельё и прочие мелочи поместились в пузатом комод; форменная шинель, шуба на алеутских каланах, доха из камчатских песцов, оленье унты, бобровая, песцовая и пыжиковая шапки, заведённые им в Восточной Сибири, нашли место на лосиных рогах в этом же чулане.

Сироткина такое поведение Стогова удивило, но Эразму Ивановичу, прошедшему выучку в кадетских классах русского флота, убираться за собой было привычным делом, этим он отличался от белоручек-дворян, которые не могли бы без посторонней помощи снять с себя штаны, чтобы завалиться на боковую.

— Надо определиться с прачкой, — сказал Эразм Иванович. — Но вряд ли кто здесь умеет стирать бельё до снежной белизны?

— Имеется у нас одно на французский манер портняжное заведение. Его владелица мадам Мими явилась сюда вслед за Загряжским, и там стирают губернаторские рубахи.

— Договорись, Сироткин, с этой Мими, с непременно условием, чтобы моё бельё стирали от Загряжского отдельно.

— Будет сделано, — усмехнулся Сироткин. — Я подготовил для вас отчёт по секретным суммам, которые выплачены Иванам Иванычам.

— Сколько их у нас всего? — оживился Стогов, поскольку платное осведомительство составляло основу всеведения жандармского сыска.

— Трое, на большее денег не хватит, — сказал старший канцелярист, развернув перед подполковником самодельную папку из картона, в которой имелись три поместительных кармана, с написанными на них названиями уездных городов: Ардатов, Сызрань, Карсун.

Стогов вынул бумаги из среднего кармана и познакомился с жизнью и деятельностью внештатного охранителя российского государства Ивана Иваныча сызранского, а в действительности Ферапонта Герасимовича Белкина, уездного почтмейстера, составившего себе приработок на перлюстрации писем. За своё хлопотное занятие он получал пять рублей в месяц, а ещё и удовольствие, какое ни за какие деньги не купишь — копать в чужих жизнях и ощущать свою исключительность от приобщения к державной силе, которая может любого человека низвести до положения ничтожества.

Иван Иванычи ардатовский и карсунский были чиновники уездных управ, досконально знавшие подноготную своих территорий и составлявшие месячные отчёты о совершённых тяжких преступлениях и о передвижениях лиц, занесённых в особый список как подлежащих неусыпному надзору, в основном из дворян, каким-то боком касавшихся событий 1825 года, а также известной несдержанностью в высказываниях относительно властных особ и похвалой якобинских порядков.

Эразм Иванович относился к людишкам стукаческого толка с пониманием: школа жизни, которую он прошёл на дальневосточной окраине, отсутствие сколь-нибудь значительного наследства приучили его смотреть на всё, что происходит у него перед глазами, с точки зрения получения вполне законной и честной выгоды для себя. Он не брал взяток, не мечтал о богатстве и предпочитал жить и растить свой капитал до определённой черты, чтобы купить имение, жениться и со временем зажить в своё удовольствие в кругу многочисленного семейства.

## Глава 6

Губернатор Загряжский просыпался близко к полудню, вставал с кровати не сразу, любил понежиться под атласным одеялом на пуховой перине и повспоминать, что ему явилось во сне, а если ничего не привиделось, то сочинить новеллу для жены, большой любительницы толкований сновидений. Иногда ему действительно снились чудные сны, которые и смотреть было занимательно, а иногда мерещились такие дикие кошмары, которые могли сулить лишь Сибирь и каторгу, а не навороженное супругой желанное место министра внутренних дел Российской империи.

И лишь один сон повторялся Загряжскому с загадочной регулярностью на

протяжении нескольких лет, с тех пор как он был назначен гражданским губернатором. И со временем Александр Михайлович уверовал, что его назначение в Симбирск произошло именно таким образом, как это случилось во сне, и стал всем рассказывать именно эту версию своего возвышения.

14 декабря 1825 года — Сенатская площадь, взбунтовавшиеся полки, толпы народа, лихорадочная суета вокруг Зимнего дворца, бледный от волнения ещё не коронованный император Николай Павлович. О случившемся Загряжский узнал у дворника, сразу понял, что это его час, и бросился, чтобы засвидетельствовать верноподданнические чувства. Государю требовались верные люди, и он, увидев капитана Преображенского полка, немедленно послал его к бунтовщикам с повелением сдаться. Задень Загряжский совершил несколько подобных поездок, во время одной из них в него попал камень, слегка повредив ногу, и он извлёк из этой царапины милость царя, который его не забыл и как-то поручил брату Константину спросить, что капитан желает. Как раз этот эпизод сегодня опять приснился Загряжскому.

Он явился к великому князю, не зная причины вызова и с внутренним трепетом, поскольку Константин был известен в гвардии как самодур и придира.

— Так что ты хочешь за службу?

— Желая быть губернатором! — выпалил Загряжский.

— А не много ли будет? — заметил великий князь.

— Для государя всё возможно.

— Это верно, возможно и учредить для тебя должность начальника тюленей на Камчатке.

Ничего этого, конечно, не было. Но сновидение было, как всегда, так правдоподобно, что Загряжский проснулся несколько раньше обычного от учащённого сердцебиения. Протёр глаза, дёрнул за сонетку, в соседней комнате тренькнул звонок. Вошёл камердинер, рослый малый, одетый по-господски, за ним появился лакей с горячей водой, тазом и полотенцем. Александр Михайлович с помощью камердинера умылся и сел к зеркалу. Пристально всмотрелся в своё отражение, провёл несколько раз щёткой по волосам и вздохнул, отмечая, что кудри заметно отступили к верхушке, поредели и подёрнулись на висках изморозью.

— Бриться будете?

— Джентльмен обязан это делать каждое утро.

Камердинер намылл ему подбородок и шею, поправил на кожаном ремне немецкую бритву и ловко выбрил своего господина, уверенно лавируя лезвием между бакенбардами, губами, носом и крохотными прыщиками. Затем последовало обтирание лица кельнской водой, подзавивка горячими щипцами волос, выщипывание из ушей и ноздрей кустистой и жёсткой растительности. Окончательная доводка внешности Александра Михайловича до кондиции светского льва заключалась в тщательной отделке ногтей. Камердинер их почистил, подрезал, отлакировал и отступил на шаг, любясь содеянным.

— Скажи-ка, Пьер, — произнёс Загряжский, потрепав по щеке своего любимца, — кто тот человек, кто может сделать императору больно, не рискуя при этом потерять голову? — камердинер задумался и развёл руками. — Зубодёр! — сказал губернатор и расхохотался. — А теперь ступай и кликни Ивана Васильевича.

Вошёл правитель канцелярии, самое доверенное лицо губернатора и почтительно поприветствовал своего патрона.

— Рассказывай, Иван Васильевич, что нового?

— Ночью сгорел дом мещанки Сорокиной на Лисиной улице. Из приезжих лиц значительных не имеется. Отставной прапорщик Козодавлев плюнул в бороду купца Угрюмова за купленное в его лавке намедни гнилое сукно. В Сенгилее отравление девицы Пушной уксусом из-за несчастной любви. Пожалуй, всё.

— А что жандармский штаб-офицер? Не собирается навестить губернатора?

— Как заехал в своё отделение, так и не выглядывал. Но к нему заглядывал господин Бенардаки. Жандарм торгует у него коня.

— Не ожидал, что Дмитрий Егорович так прижимист. Мог бы подарить.

— Может, новый штаб-офицер враг взяток? — предположил Иван Васильевич.

— Это было бы ужасно для вице-губернатора. А как поживают наши либералы?

— Господа Тургенев и Аржевитенов изволили вчера в собрании непочтительно отозваться об особе губернатора.

— Да? Интересно. Ну, и как отозвались?

Правитель канцелярии замешкался с ответом.

— Я жду!

— Они вас называли ветрогоном.

— И только-то! Ладно, ступай.

Александр Михайлович обладал характером лёгким, незлобивым и потому на «ветрогона» не обиделся. Местные либералы Аржевитенов и Тургенев против него фрондировали, но писем в Петербург не слали, не ябедничали, и это губернатора устраивало. Загряжский был человеком широких взглядов, допускавших определённый либерализм, не в пример, скажем, пензенскому владыке Панчулидзеву. Это был вполне светский, ни к чему определённого не обязывавший либерализм, приобретённый им в эпоху просвещённого и благословенного Александра I, в годы войны с Наполеоном, в которой четырнадцатилетним юношей Загряжский участвовал полковым адъютантом.

Он с войсками побывал в Париже, посмотрел на тамошнюю вольготную жизнь, на систему гражданских взаимоотношений, на побеждённых французов, распевавших песни в обнимку с победителями, позавидовал их легкомыслию и умению превыше всего ценить комфорт и, можно сказать, заразился этими идеями, хотя другие вынесли из просвещённой Европы идеи революции и тираноборства, что и привело их, в конце концов, на Сенатскую площадь.

Загряжский принадлежал к древнему дворянскому роду, первые упоминания о котором восходили ко времени Дмитрия Донского. Он получил домашнее образование, свободно говорил по-французски и мастерски владел русской речью, но был малограмотен, читал редко, всерьёз ничем не интересовался. Писатель Иван Гончаров, работавший у него «подставным секретарём», заметил, что «у него в памяти, как у швеи в рабочем ящике, были лоскутки всяких знаний, и он быстро и искусно выбирал оттуда нужный в данную минуту клочок». Губернатор виртуозно владел устной речью, его рассказы напоминали тщательно отделанные загодя новеллы, которым он придавал видимость экспромта. Знал толк в живописи и в модной одежде, которую шил, живя в Симбирске, у петербургского портного, щеголял покроем и белизной белья, любил жить на широкую барскую ногу и ухитрялся это делать на одно губернаторское содержание, впрочем, в этом были серьёзные сомнения.

Иван Васильевич ещё не успел дойти до двери, как губернатор его окликнул:

— Сегодня у нас вечер. Извести моих партнёров по висту.

Не одеваясь, в халате, Александр Михайлович пошёл на половину жены, в «мой сераль», как он изящно выражался даже в присутствии посторонних лиц.

— Как тебе спалось, Мари? — спросил Загряжский, целуя руку жены.

— Слава богу, покойно. А тебе, Алекс, наверно, не давали покоя твои одалиски?

— Ну что ты, дорогая. Представь, мне приснился великий князь Константин. Он хотел сослать меня на Камчатку!

— И кем?

— Начальником тюленей.

— Этот сон к переменам.

— Ты думаешь?.. Как Лиза?

— Здорова. Сегодня на вечере будет в новом платье.

Загряжский поцеловал жену на этот раз в блеклую и увядшую щёку и вышел. Упоминание об одалисках не было беспочвенным, супруга знала, что её Алекс шалопай и волокита, не проходивший мимо сколь-нибудь миловидного женского личика. В начале семейной жизни по этому поводу возникали между ними сцены, порой ужасные, но постепенно всё вошло в привычную колею: муж волочил за кем ни попадя, и если попадал в неловкую ситуацию, то верная Мари бросалась ему на помощь. Она так горячо уверяла всех, что муж ей верен, что это уже давно стало банальным столичным анекдотом.

Завтрак Загряжскому, как обычно, подали в рабочий кабинет. Он присел за обеденный столик, завязал на шее салфетку и отрезал кусочек ростбифа.

— Присоединяйтесь к завтраку, — произнёс он ежедневную ритуальную фразу, обращённую к стоявшему рядом Ивану Васильевичу.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство! — также ритуально ответил правитель канцелярии, привычно возвысив своего патрона до генеральского классного чина.

Покончив с завтраком, Загряжский сел в кресло за рабочий стол и стал подписывать разные бумаги, совсем их не читая, лишь изредка спрашивал, если бумага была большой, о чём в ней идёт речь. Иван Васильевич объяснял, и губернатор подписывал, не сомневаясь, что в этот момент он занят умышленной и важной для судеб губернии деятельностью. В этот час беспокоить его не полагалось, о чём знали все, а тем, кто не ведал, объясняли жандарм при входе и камердинер, безотлучно околачивающийся в губернаторской приёмной. Загряжского вполне устраивало, что благодаря этому порядку все были уверены, что губернатор не бьёт баклуши, а работает, следовательно, радеет об общественной пользе.

Наконец бумаги были подписаны, Иван Васильевич удалился в канцелярию, а

Загряжский принял первого назначенного на этот день посетителя. Это был архитектор Михаил Петрович Коринфский, невзрачный сутулый человек в круглых очках, сильно тушующийся в присутствии сановных особ.

— Разрешите представиться, ваше превосходительство, — произнёс архитектор, — по случаю переезда в Казань к новой должности архитектора Казанского университета.

— И вы покидаете нас, дорогой Михаил Петрович! — воскликнул губернатор. — Ваш отъезд — большая для нас потеря. Садитесь, прошу вас, вот в это кресло, здесь покойнее. Ну-с, в каком положении вы оставляете наши дела?

Здесь надобно уведомить, что Загряжскому от его предшественников досталось незавершённое и многотрудное дело — строительство Троицкого собора, к возведению которого приступили 25 июня 1827 года в день рождения императора Николая I. Полгода назад были завершены все виды работ, кроме росписи стен, сводов, колонн, а также установки киотов и иконостаса. В этот же день была заведена Бархатная Книга, в которую заносились имена тех, кто своими пожертвованиями принимал участие в возведении храма. Среди имён жертвователей Загряжский отсутствовал, видимо, он полагал, что вполне достаточно было и того, что храм возводился во время его губернаторства.

— Моего наблюдения за строительством дальше не требуется. Всю необходимую документацию я передал по описи казначею комитета по строительству Льву Борисовичу Плотникову.

Александр Михайлович задумался, решая про себя какой-то важный вопрос, затем открыл ящик стола и достал несколько листов бумаги.

— Вы не находите, Михаил Петрович, что Симбирск, не говоря уже об его окраинах, каких-нибудь Тутях, даже в своей центральной парадной части выглядит непрезентабельно и по-провинциальному затрапезно?.. Хотелось бы его как-то разнообразить, украсить, что ли.

Коринфский был твёрдокаменным сторонником архитектуры классического стиля, мыслил коринфским и дорическим ордерами, колоннами, фризами, капителями и мог предложить только это. Однако у губернатора были свои идеи, и он рискнул поделиться ими со всероссийски известным зодчим. Как всякий начинающий автор, он испытывал неловкость и опасение, что его труд не будет должным образом оценен.

— Вот здесь я отразил некоторые свои идеи, — волнуясь, сказал Загряжский и протянул архитектору лист бумаги. — Как видите, это скамейка, а почему бы и нет?.. Начинать нужно с малого. Так вот, я предполагаю, что скамейка будет выполнена в металле и установлена на Венце, где открывается такой волшебный вид на Волгу. Это будет моим даром Симбирску, почином к улучшению жизни городских обывателей. Начальник полиции мне обещал, что от своего имени установит скамейку и металлический столб с фонарём. А вот тут табличка с именами жертвователей.

— Что же, проект достойный и понятный каждому обывателю. Мне самому не нравится, ваше превосходительство, что наши мешане всегда норовят залезть на скамейку с грязными ногами, лузгают семечки. Возможно, их остановит от непотребства ваше искусство, а достоинство проекта несомненно.

Александр Михайлович был польщён похвалой маститого зодчего. Он кликнул камердинера и приказал принести шампанского. Теперь был польщён и Михаил Петрович, в сановных покоях шампанским его угощали впервые, отношение к художникам в старые времена было презрительным, ибо ещё Пётр Великий повелевал «незаконнорожденных записывать в художники».

Они освежились благородным напитком, Александр Михайлович почувствовал, что на него накатило вдохновение. И он обнажил перед архитектором тайное, что временами томило душу просвещённого администратора.

— Сейчас управители губерний стеснены в своих начинаниях, но, возможно, в будущем губернаторы получат большую свободу в решениях, у них появится возможность напрямую завязывать связи с границей, привлекать просвещённые идеи и капиталы. Например, Симбирску очень бы помогли связи с французским Лионом, где много шёлковых мануфактур, а у нас на Тутях, а название сей окраины происходит от тутового дерева, можно бы наладить выращивание шелковичных червей, что вы на это скажите?

— Я — архитектор, и мне трудно судить об этом, — сказал Михаил Петрович, а про себя заметил, что губернатора определённо заносит. — Да... скамейки железные, а на них долго не просидишь, вредно для почек.

Губернатор скис, он уже сожалел, что открыл перед архитектурным сухарём и плебеем свою восторженную душу. В свою очередь Коринфский был доволен тем, что удачно лягнул губернатора, от которого в своё время выслушал немало глупейших нотаций. Михаил Петрович сухо откланялся и вышел, а губернатор, сожалея о пустой

трате, посмотрел на недопитую бутылку шампанского, приказал камердинеру плотно её закупорить и запереть под ключ. «А то ведь вылакает, шельма, — подумал Александр Михайлович. — А Коринфский — сволочь, плебей, ему недоступны высокие движения души. И я тоже хорош, нашёл, перед кем метать бисер». Но потаённая идея, сторяча высказанная Александром Михайловичем архитектору-сухарю, продолжала ещё его беспокоить. Загряжский был мечтателем, он любил вообразить, что вдруг неожиданно откуда-нибудь на него свалится миллион рублей золотом, или государь выделит ему пенсию, или ему в его имении вдруг откроются алмазные россыпи. Что ж так было и пребудет всегда: одни мечтают о богатстве, другие — о революции, романтичный девятнадцатый век ещё не оржавил душу людей сухим прагматизмом и скепсисом.

## Глава 7

Эразм Иванович ничего в своей жизни наобум не делал и, прежде чем совершить какой-нибудь поступок, тщательно обдумывал последствия, взвешивал все за и против, и только когда шансы были равновесны, решался доверить судьбу случаю, если уж нельзя было совсем отказаться от принятия решения.

Первый визит к губернатору должен был прояснить многое. И вполне могло оказаться, что Загряжский вовсе не такой уж легкомысленный и пустой человек, каким его повсеместно рекомендовала молва. И тогда возникшая по дороге в Симбирск в голове Стогова задумка получить заветные полковничьи эполеты могла в одночасье рухнуть, и впереди его ждало многолетнее унылое прозябание в захолустной провинции, а за это трудно ждать от начальства желаемого повышения по службе.

Собираясь в губернаторский дворец, Стогов уже вёл мысленный диалог с Загряжским, то есть репетировал фразы, позы, придумывал фигуры речи позаковыристей, словом, устроил репетиционный прогон будущего randevu с губернатором, пока его увлекательное занятие осторожным постукиванием в дверь не прервал унтер-офицер жандармской команды, дежуривший при особе штаб-офицера Симбирской губернии.

— Господин подполковник! Явился от Бенардаки приказчик и привёл коня.

— Пусть ждёт, я скоро выйду, — сказал Стогов и продолжил одевание.

Эразм Иванович был морским офицером, и флотская форма существенно отличалась от парадного жандармского одеяния, в котором ему предстояло сделать визит к начальнику губернии. Он долго не мог справиться со шпорами, но на помощь пришёл Сироткин и помог прикрепить колючие побрякушки к задникам сапог, а с палашом, вместо кортика, Стогов справился сам. Затем он водрузил на фуражную шапку посеребренную каску с орлом и султаном из конских волос, посмотрел в зеркало и с грустью подумал, что величественная форма жандарма любого дурака сделает на вид такой значительной личностью, что человек в штатском будет выглядеть перед ним ничтожеством, даже если он сам Иммануил Кант.

С визитом следовало отправляться верхом на коне. В жандармской команде за штаб-офицером числился вороной мерин, который сейчас стоял возле коновязи, но явленный приказчиком Бенардаки «орловец», осёдланный, в прекрасной светло-синей сбруе, согласно сочетавшейся с гнедой мастью коня, мгновенно покорила сердце Эразма Ивановича, он шагнул к приказчику и вдруг вспомнил, что этот конь — взятка откупщика, и на какое-то время замешкался.

— Извольте, ваше высокоблагородие, получить купчую, — прогнулся приказчик.

— А это расписка бывшего хозяина о долге господину Бенардаки.

Стогов мельком заглянул в бумагу — семьдесят шесть рублей. Одна сбруя тянула на гораздо большую сумму, но купчая в корне меняла смысл происходящего, теперь это был уже не наглый посул, то бишь взятка, а торговая сделка, коих в том же Симбирске свершается за день бесчисленное множество.

Подполковник смело сунул сапог в стремя, взлетел на коня, взял в руку поводья и буркнул:

— Пусть Дмитрий Егорович зайдёт ко мне подписать бумаги и получить расчёт.

Губернаторский дворец, как именовали симбиряне двухэтажное здание на краю Соборной площади, дворцом можно было назвать только с натяжкой. Это был большой дом с балконом, у некоторых симбирских дворян деревенские усадьбы были побольше, но это была резиденция начальника губернии, а столь высокопоставленная особа иначе как во дворце обитать не могла. Поэтому людская молва, склонная к преувеличениям, так и нарекла обиталище статского советника Загряжского, которому верный камердинер тотчас донёс, что внизу, позвякивая шпорами, разоблачается штаб-офицер Симбирской губернии.

Александр Михайлович быстро разложил на столе бумаги, взял свежее гусиное перо и сделал на лице значительную мину человека, занятого умственным трудом.

Прошла минута, другая, губернатор уже устал изображать занятого человека, как дверь распахнулась, и камердинер, не переступая порога, важно возгласил:

— Штаб-офицер Корпуса жандармов подполковник Эразм Иванович Стогов.

Загряжский поднялся с кресла, вышел из-за стола и, сияя приветливой улыбкой, встретил Стогова посередине комнаты. Они обменялись почтительным рукопожатием, и губернатор увлёк гостя к низкому столику, где усадил на банкетку, а сам устроился с противоположной стороны на стуле и слегка отодвинул в сторону вазу с цветами.

— Мой предместник завёл при дворе прекрасную оранжерею. Раньше я был к цветам равнодушен, но сейчас уверился, что розы способствуют вдохновению. Из Петербурга порой поступают столь путаные вопросы, что разобраться с ними можно только в порыве вдохновения, разумеется, не поэтического, а канцелярского...

Александр Михайлович тонко улыбнулся, призывая собеседника продолжить начатую им тему об иге петербургского казённого канцеляризма, довлеющего над мыслящими на современный лад губернаторами, но жандарм не подхватил брошенную ему ниточку и сухо произнёс:

— Должен вас предупредить, господин губернатор, что в Симбирск на днях явится ревизия по рекрутскому присутствию.

— Меня сие не касается, — довольно легкомысленно объявил Загряжский. — В рекрутском присутствии президентом вице-губернатор, но он, кажется, ещё ни разу от ревизий не пострадал. А вы к нам откуда перевелись служить?

— Я был по морскому ведомству, но судьба позволила определиться в жандармы. А служил я в Охотске и на Камчатке, в Иркутском адмиралтействе, общим счётом пятнадцать лет службы на окраинах империи.

Загряжский, услышав про Камчатку, чуть не вскочил со стула, поражённый совпадением со своим ночным сном: ему снилось, что его могут отправить начальником тюленей на Камчатку, и жандарм явился оттуда: к чему бы это?

— Скажите, Эразм Иванович, на Камчатке тюлени есть? — слегка дрогнувшим голосом спросил губернатор.

— Беспременно есть, но ещё больше их на островах. Будучи командиром корабля, я наблюдал их громадные скопления, как и моржей и котиков.

— Икто же начальствует над этим множеством живности? — робко поинтересовался Загряжский.

— Пока они бесхозные, чем пользуются добытчики других стран, что промышляют в наших водах, когда им похочется.

«А ведь сон в руку, — содрогнувшись, подумал Александр Михайлович. — Как бы меня не турнули на Камчатку. Правда, там тройное жалованье, но скука, не приведи, господи! Может, и этого камчадала прислали жандармом в Симбирск, чтобы он присмотрелся, гожусь ли я быть начальником над тюленями?»

— Позвольте полюбопытствовать, господин подполковник, — немного окрепнув духом, сказал Загряжский. — В чём ваша служба будет состоять в губернии?

— Его императорское величество соизволил определить задачи штаб-офицера. В общих чертах — это противодействие всему противозаконному в обществе, вскрытие фактов, мешающих действию государственного управления, наблюдение за течением общественной мысли и, разумеется, всемерная поддержка авторитета губернаторской власти на местах, а также искоренение взяток.

— Тяжёлая работа вам, Эразм Иванович, выпала ноша, — сочувственно промолвил Загряжский, — особенно в части взяток. Я их не беру и признаюсь, не потому, что не люблю деньги — укажите мне того, кто к ним равнодушен?.. Но вы ни за что не догадаетесь, почему я не беру взятку.

Стогов сделал вид, что задумался над словами губернатора, а на самом деле, был доволен таким направлением разговора: Загряжский хочет перед ним заголиться, показать случайному человеку изгибы своего нрава — пусть его тешится, жандарму слушать треп значительного лица всегда в прибыток, авось услышанное где-нибудь и сгодится.

— Никак не могу понять, Александр Михайлович, почему вы равнодушны к взяткам, — развёл руками Стогов и подпустил в беседу романтического флёру. — Может быть, причина кроется в какой-нибудь роковой клятве?

Загряжский весело рассмеялся смехом открытого человека, которому нечего таить от чужих людей, он был готов без всяких расспросов вывалить из себя всё, что только думает и чувствует.

— Причина моей стойкости к взяткам кроется в моей лени. Взятку за так не дают, надо что-то за неё делать. А я так этого не хочу, Эразм Иванович! Не хочу поступить противозаконно, потому что, если, не дай бог, всё откроется, то возникнет уже громадное беспокойство: кому-то нужно будет давать взятку, да не одну, а эту закидушку с крючками лучше не трогать — зацепит одной удой и не выпустит, пока не

разденет догола, не выжмет досуха.

— Я поражён глубиной вашего ума! — поощрил Стогов губернатора.

— Вся беда, — вновь завёлся Загряжский, — что взятки берут хорошие люди от мошенников. Если бы брали хорошие люди от хороших людей, то взятка стала бы двигателем общественного прогресса.

— Как это так? — слегка опешил жандарм.

— Очень просто, — сказал Загряжский. — Хороший человек не будет давать взятку для плохого дела, другой хороший человек не возьмёт взятку, если она содействует плохому, в результате выигрывает всё общество, а это и есть прогресс и нравственное совершенство.

«Эк, его как заносит!» — восхитился жандарм, но виду не подал и вполне серьёзно предложил:

— Столь важные государственные мысли недурно было бы оформить в виде проекта и подать оный на рассмотрение в правительствующий Сенат.

— Не понуждайте меня к столь серьёзным занятиям, — не согласился Загряжский.

— Когда-нибудь общество поймёт, что взятка жизненно необходима совсем не в том виде, в котором она существует сейчас. Россия в этом смысле должна цивилизоваться, и по части взяток у неё большое будущее.

— Может быть, вы, Александр Михайлович, более передовой администратор, чем пензенский Панчулидзеv, но, пока закон против взяток, я как штаб-офицер должен им противостоять как антиобщественному и безнравственному деянию.

— Вы думаете, что общество взятками возмущено? — осклабился Загряжский. — Не скрою, что до своего появления в Симбирске я считал, что дворянство — можно сказать, сливки общества — возмущено взяточничеством. Так вот. Мой предместник Жмакин был прожжённым мошенником и взяточником, но симбирские дворяне им были довольны, и это не враки. Прошлым летом на свадьбе у Бестужева собрались до двухсот дворян, разговор зашёл о Жмакине. И ни одного голоса против. Все двести, как в английском парламенте, проголосовали, что лучшего губернатора, чем Жмакин, они в России не знают.

— Других дворян у нас, Александр Михайлович, нет, — вздохнул Стогов. — Скажите, а как обстоит дело с картёжниками? В Петербурге весьма обеспокоены, что проигрываются состояния, большие казённые суммы. Мне указано графом Бенкендорфом не допускать подобного в Симбирске.

Когда Стогов заговорил о картонных играх, то губернатору стало заметно не по себе: он сконфузился, охваченный догадкой, что жандарм проведал о его встречах с откупщиком за картёжным столом и нацелился разоблачить Загряжского в том, что тот падок на дармовщину. Однако жандарм заявил совершенно неожиданно:

— Я буду содействовать усилиям вашего превосходительства в соблюдении законов.

— Я рад, что вы искренне намерены мне способствовать, — обрадовался Загряжский. — Что вам потребуется для того, чтобы поправить мои отношения с дворянами: они против меня фрондируют?

— Ваше ко мне уважение и соблюдение тайны относительно того, что я буду сообщать.

— Это так немного, — почти восторженно вымолвил губернатор, — что я не только даю вам честное слово, но и считаю своей обязанностью всё исполнить!

— В таком случае мне приятно будет подать вам руку дружбы, — торжественно провозгласил Стогов. И взаимные обязательства были скреплены крепким рукопожатием.

Дежуривший в губернаторском доме жандарм отвязал от коновязи коня, штаб-офицер вполне уверенно сел в седло и неторопливо отправился к своему дому. Морская служба приучила его сообщать быстро и трезво, и Эразм Иванович визитом к губернатору остался доволен. Можно сказать, начинали оправдываться его тайные чаяния, которые он лелеял, направляясь в Симбирск. Первое знакомство с начальником губернии дало Стогову основание предположить, что Загряжский сидит на своём месте некрепко и не имеет настоящей поддержки ни в Петербурге, ни в губернии. К тому же он несусветный болтун и егоза, такого можно будет легко подтолкнуть к совершению какой-нибудь громкой глупости.

На казённой половине дома усердно скрипели перьями канцеляристы, дежурный унтер-офицер приглядывал за полумойкой, чтобы та тщательно вымывала грязь из углов кабинета начальника, и в то же время подбрасывал поленья в голландки, кои топками выходили в коридор. Увидев Стогова, баба заторопилась шлёпать мокрой тряпкой по полу, но Эразм Иванович посоветовал ей не торопиться, а сам прошёл в свои покои, где снял с головы каску и бережно поставил её на тумбочку, затем освободился от верхней одежды и шпор, испил с тёплым калачом большую чашку сли-

вок, поднесённую Авдеем Филиппычем, и, промокнув губы салфеткой, прошёл в свой кабинет, где сел за стол, оглядел конверт, полученный от сызранского Ивана Иваныча, и отложил его в сторону.

После посещения губернатора следовало отписаться в Петербург, сообщить о своём вступлении в обязанности штаб-офицера губернии и резюмировать впечатления от визита к губернатору. Важно было не обмешульнуться с первым донесением: Дубельт предложил выбрать ему любую письменную форму для отчётности, и, поразмыслив, Эразм Иванович решил облачать свои сообщения в письма, дабы избежать сухости в языке изложения и придавать набившим оскомину фактам повсеместного безобразия доверительность и даже игривость. Стогов по своему опыту знал, если начальник закончит чтение документа с лёгкой улыбкой, то можно быть уверенным, что автор уже заслужил его благосклонность, от которой не так уж и далеко до реальной награды.

Бумагу, которая лежала у него на столе, Эразм Иванович посчитал слишком тёмной и грубой для первого сообщения в Петербург, но в шкафу у него имелся некоторый запасец китайской бумаги, вывезенной им из Иркутска, матовой белизны, с водяным знаком иероглифа, символизирующим почтение к сильным мира сего. Стогов встал из-за стола и встретился взглядом с ухмылкой дежурного унтер-офицера.

— Что у тебя? — поморщился подполковник.

— Явились две барыни. Просят принять.

— Кто такие? По какому делу? И перестань ухмыляться!

— Виноват, ваше высокоблагородие, — унтер-офицер приблизился к столу. —

Пришли сёстры министра Дмитриева. Просят принять.

Стогов вопросительно глянул на явившегося вместе с унтер-офицером старшего канцеляриста.

— Капризные будут особы, ваше высокоблагородие, — доложил Сироткин. — Ихний брат Иван Иванович Дмитриев, известный поэт и баснописец, был министром юстиции, а это его сёстры. Возомнили себя тоже особами второго класса, если брат — действительный тайный советник. Никому не кланяются, исчванились вконец, губернатора обозвали петербургской мелочью...

— Как хоть их зовут? — перебил его Стогов. — Раз пришли, придётся принять.

— Имён их никто не знает, говорят, что Дмитриевы, одна — Покровская, другая — Московская, по улицам, где они и состарились барышнями в своих домах.

— Пусть войдут, а вы сгиньте!

Столь высоко мнящих о себе барынь Эразм Иванович принял с обвораживающей вежливостью. Но сёстры министра её не заметили и, усевшись на предложенные им стулья, потребовали отрешить от должности помощника полицмейстера Филиппини, который уже давно стакнулся с симбирскими жуликами, смотрит сквозь пальцы на творимые ими бесчинства и с каждого украденного у честного обывателя рубля имеет полтинник прибыли.

— Ваши обвинения, сударыни, пока голословны, — вклинился в их трескотню Стогов. — Для столь громкого обвинения нужно предъявить доказательства.

— Какие ещё доказательства? — всплеснула руками Дмитриева-Покровская. — У меня воры повалили забор и весь снег под окнами истоптали.

— А у меня окно выдавили и тоже снег весь истоптали вокруг дома! — поддержала сестру Дмитриева-Московская. — Сосед видел, как от меня через забор сиганул громадный человек в бекеше.

— Тогда скажите, что у вас украдено? — улучив паузу, сказал Стогов.

Сёстры переглянулись, на какое-то мгновение замешкались и враз заговорили:

— Откуда нам зимой знать, что пропало? Вот летом будем перебирать укладки, кража и обнаружится. А теперь как понять? У нас столько всего накоплено, лишь бы сберечь. Вот и братец наш министр Иван Иванович в письмах наказывает, чтобы мы в случае чего били в набат властям. А кто нынче власти?.. Наш батюшка Иван Гаврилович сызранским воеводой был, на четвёрке рысаков езживал. Разбойники мимо нашего Богородского с поклонами проходили.

— Вы в полицию обращались? — чуть повысил голос Эразм Иванович, которому надоела бабья болтовня. — На случай воровства есть пристав части, где вы живёте.

— Сейчас в полиции служат те, кто сам шастает по ночам в чужих домовладениях, — презрительно вымолвила Дмитриева-Покровская. — Кто этот Филиппини? Откуда он взялся? Сейчас берут на службу в полицию явных чужестранцев. А зачем они явились к нам? Ясно, чтобы нажиться на нашей простоте.

— Мы доверяем только жандармам, — призналась Дмитриева-Московская. — Защитите нас, господин штаб-офицер, от посягательств злоумышленников.

— Я переговорю на этот счёт с полицмейстером Орловским, — пообещал Стогов. — Говорят, что он отменный сыщик.

— Как бы не так! — воскликнули сёстры. — Всем ведомо, что воры обитают в

овраге, где течёт Симбирка, хотели бы их извести, так пожгли бы их пристанище, но полицмейстеру нет до этого дела. Одна у нас надежда — это вы, господин Стогов...

— Я не знаю, как вам помочь, — развёл руками подполковник. — Но я не забуду вашей беды.

— Дайте нам на день вашего унтера Сироткина! — в один голос воскликнули сёстры. — Он пусть посидит в сенях и злоумышленника схватит.

Стогов ухватился за открывшуюся ему возможность избавиться от старых барынь и кликнул старшего канцеляриста. Дмитриевы были удовлетворены обещанием Сироткина избавить их от незваных гостей и удалились.

— Ты действительно можешь им помочь? — недоверчиво произнёс Стогов.

— Конечно, смогу. Я, господин подполковник, знаю, кто шастает по ночам к племянницам Дмитриевых. Скажу, чтобы поутихли на время. Пора им думать о свадьбах.

## Глава 8

Оба окна губернаторского кабинета выходили на парадную сторону дворца, и Загряжский не отказал себе в любопытстве посмотреть, как жандарм Стогов отбудет восояси в своё логово, чтобы плести там паутину, в первую очередь, для начальника губернии, ведь никто из губернаторов не верил в то, что штаб-офицеры изобретены для их счастья и покоя, а не для подглядя и подслуха. Высшая власть в России всегда глядела на своё ближайшее окружение как на готовых преступников. И череда царубийств и государственных переворотов только подтверждала, что в своих немеркнущих подозрениях она была провидчески права.

Жандарм не потешил Загряжского падением с коня и хотя уселся в седле как сноп на заборе, но совладал с поводьями и стремянами. И губернаторский взгляд обратился к созерцанию летнего Троицкого собора, который тёмной громадой возвышался на Соборной площади среди куч мусора, ям, кладей кирпича, брёвен, горбылей и плах, предназначенных для выполнения работ внутри храма. День был серый, тусклый и предрекал столь привычную скуку, что Александр Михайлович невольно зевнул. Но вдруг откуда-то на площадь налетела туча горластых ворон и закружила вокруг тускло сияющих позолотой куполов храма, гадя изо всех сил, то собираясь в один ком и заслоняя кресты куполов, то рассыпаясь по всей просторной площади, пока вдруг внезапно не исчезла, словно провалилась с Венца в волжское подгорье.

«Это явно не ангельское войско», — хмыкнул Загряжский, бывший в душе сторонником вольтерьянцев, появившихся в России вслед за голоногими танцовками балета и женоподобной мужской модой. Восемнадцатый век на Западе был безбожным, что не могло не сказаться на русских дворянах, жадно вззирающих на европейских учителей. Загряжский не избежал французского скепсиса к религии предков, которым вполне заразился в Париже, но не стал отпетым атеистом, его лёгкий характер позволял ему якшаться и с масонами, и с постной физиономией внимать проповедям преосвященного Анатолия. Губернатора опять потянуло на зевоту, но естественный позыв скучающего человека опять был прерван шумом, на этот раз не воронья, а визгом и лаем двух сворок борзых, которые выкатились перед окнами дворца, вместе с дюжиной всадников на крупных лошадях, одетых к выезду на охоту, с медными рожками и арапниками, готовых к набегу на заснеженные поля за симбирскими пригородами.

Александр Михайлович отшатнулся от окна, чтобы не быть замеченным проезжающей ватагой: от здешних разбалованных дворян можно всегда ожидать неприятности, даже начальнику губернии. И сейчас, гарцуя под окнами губернатора, они злили собак хлопками арапников, свистели и нагло обшаривали глазами окна жилых комнат, особенно вызывающе щерился предводитель этой шайки молодой князь Дадьян, высланный из Петербурга в Симбирск за громкую дуэль. Загряжский имел все основания обходить этого опасного человека стороной. Князь всё явственнее и настойчивее ухаживал за старшей дочерью губернского предводителя дворянства князя Баратаева, которой небезуспешно строил куры и главный симбирский ветрогон и греховодник, с опаской наблюдавший из своего окна за соперником. Князь был в бурке и выглядел кровожадным азиатом, посверкивая серебряными газырями на черкеске и серебряным поясом, на котором болтался огромный кинжал и пороховница. Под стать предводителю были и другие любители псовой охоты, на каждом было навешано столько оружия, будто они собрались промышлять разбоем на большой дороге, а не гоняться за зайцами и лисами, которые в этом году так расплодились, что их можно было видеть на окраинных улицах города.

— Явился по вашему вызову полицмейстер Орловский, — сообщил камердинер, прервав предпринятую от нечего делать губернатором ревизию окрестностей дворца. Александр Михайлович встряхнулся и вернулся за стол к исполнению обязанностей

начальника губернии.

Поседевший на службе правопорядку Орловский пережил уже несколько губернаторов и своё полицейское счастье обрёл в Загряжском, который не был способен к разносам, диким выходкам и рукоприкладству, что было не в редкость при прежних начальниках губернии. Александр Михайлович был доволен распорядительностью полицейского, которую тот проявлял при поездках губернатора по уездам, в организации встреч с крестьянами. Их, по правде говоря, Загряжский побаивался, как неких чужестранцев, кои хотя и разговаривали с ним на одном языке, но бороды, лапти, армяки дела их отличным от дворян народом, с которым судьба приговорила существовать в наказание, неизвестно за что, благородному сословию.

— Рад тебя лицезреть, Игнатий Мартынович, — произнёс с французским проносом Загряжский, разглядывая обильно потевшего с похмеля полицмейстера. — А сейчас ответствуй, майор: для чего заведена полиция? — Орловский предпочёл не отвечать на чересчур понятный вопрос, справедливо предполагая, что в нём кроется какая-нибудь заковырка. — Молчишь? Значит, знаешь свою вину, — укоризненно произнёс губернатор.

— Никак нет, ваше превосходительство! — отвердел взглядом майор.

— А ведь врешь, — скривился Загряжский. — Сейчас, поди, гадаешь, кто донёс губернатору, что бронза, украденная у полковника Шуинга, давно разыскана, и теперь ему нужно позолотить пятью полуимпериалами твою лапищу, чтобы получить своё имущество? Я скажу, от кого мне сие известно — от самого полковника!

— Я, ваше превосходительство, не имею к этой бронзе никакого касательства, — прохрипел Орловский и утёр широкой ладонью потное лицо. — Это капитан Филиппини безобразничает. Стакнулся с ворами: те воруют, он якобы находит покражу и начинает вымогать от потерпевшего деньги. Этим сейчас многие в полиции заражены. Прямо чума какая-то!

— А ты, Игнатий Мартынович, стало быть, чист? — усмехнулся Загряжский.

— Я прослужил в полиции тридцать лет, — бодро заявил майор. — И я не без греха. Но нынешняя молодёжь приходит в полицию только хапать и хапать!

Загряжский был доверчив и снисходителен к подчинённым, и честное признание старого полицейского взяточника его растрогало. Он взял недопитую бутылку шампанского и наполнил им большой бокал, дождался пенной усадки и долил с краями.

— Испей, Игнатий Мартынович! Наш полковой лекарь научил меня, чем лечить похмельную голову. А ты, поди, уже к ерофеичу приложился?

— Пригубил-с рюмку очищенной, — признался полицмейстер, осторожно снимая с подноса наполненный всклень бокал с шампанским.

Александр Михайлович, дабы не видеть воочию нарушения порядка государственной службы, отвернулся к окну и вернулся в исходное положение, когда хрусталь бокала соприкоснулся с серебром подноса.

— Кажется, мне надо собрать вас всех вместе — Филиппини, тебя и полковника Шуинга, — строго сказал губернатор. — Надо, в конце концов, решить это дело.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я немедленно приму меры, чтобы полковник был полностью удовлетворён. С тем и прошу вашего разрешения откланяться.

— Разве мы обо всём вспомнили? — удивился Загряжский. — Как дело с розыском шубы, украденной из гостиницы у проезжающего по казённой надобности в Самару сенатора Похвистнева? У меня где-то тут на столе его письмо со страшными угрозами, кстати, в твой, Игнатий Мартынович, адрес. Так как с шубой?

— Отыскали, ваше превосходительство. Но она оказалась в состоянии, в котором её нельзя возвратить владельцу.

— Это как? — заинтересовался губернатор. — Воры её загрязнили, попортили?

— Хуже: они её искромсали на куски, годные только на воротники. Из шубы получилось почти три десятка бобровых воротников. Я написал господину сенатору отношение, чтобы он решил, как распорядиться с этим добром.

— Да ты уже, поди, распорядился, — улыбнулся Загряжский. — Предполагаю, что высшие чины симбирской полиции скоро обретут на свои шинели воротники из бобров.

— Не буду лгать, — смиренно сказал полицмейстер. — У некоторых глаза поначалу разгорелись, но скоро погасли: шуба оказалась траченной во многих местах молью.

— Ну, а как поживает самый надёжный друг нашей полиции атаман Безрукий? — сказал Загряжский. — И как ему только удаётся разбойничать на большой дороге почти двадцать лет?

— Безрукий из старого воровского рода, его знает всё воровское дно, а спрятаться даже в полуверсте от губернаторского дворца — дело нехитрое.

— Это где же?

— Вся слобода в овраге, где течёт Симбирка, насквозь соединена ходами и выходами. Безрукому достаточно сигануть за забор, как его не найти и тысяче полицейских. Обыватели стонут от овражного ворья, но есть только один выход покончить с ворами.

— Какой выход? — заинтересовался губернатор.

— Сжечь дотла все притоны один за другим.

— Упаси тебя, Игнатий Мартынович, говорить это кому-нибудь ещё, — испугался Загряжский. — Исправники мне доносят, что в губернии народ всё чаще винит в пожарах полицию. Ступай, голубчик, разберись с бронзой полковника Шуинга, а про овражные притоны никому не говори.

Александр Михайлович выпроводил полицмейстера не только потому, что тот стал поглядывать в сторону недопитой бутылки шампанского, его влекла к себе встреча с тем, что составляло подлинный смысл его существования. Он вышел из кабинета и через толпу просителей, не замечая никого, направился по коридору в оранжерею, которая вплотную примыкала к губернаторскому дворцу.

Уже вступила в свои права зима, а здесь благоухали розы и другие цветы, зеленели апельсиновые и лимонные деревья, попевали редкого вида перцы, ждали своей очереди отправиться на губернаторскую кухню свежий лук, редис, сельдерей, пастернак и много другой огородной мелочи. Хозяином этого роскошного оазиса был садовник Степан, крепостной человек Загряжского, выучившийся своему ремеслу у самых настоящих голландцев в Петербурге и, по совместительству, безропотно выполнявший щекотливые поручения своего барина. Степан жил при оранжерее, у него была отдельная просторная комната, которую он содержал в большой чистоте. Комната имела два выхода: один вёл в оазис, другой — в сторону волжского берега, зимой всегда безлюдного, к тому же этот вход был укрыт от любопытных глаз густыми посадками деревьев и кустарников, и пользовался им один Загряжский и его таинственные посетительницы. Садовник увидел господина и глухо произнёс:

— Пришли-с. Ждут...

Александр Михайлович взял срезанную Степаном красную розу и, ощущая прилив возбуждения, вошёл в комнату. Помещение затеняли тяжёлые шторы, но один лучик солнца освещал полуобнажённую грудь молодой женщины, призывно раскинувшейся на диванных подушках.

— Ах, Алекс, — томно произнесла она, — я так тебя заждалась!

— Что поделаешь, — нервно хихикнул Александр Михайлович, — губернаторские хлопоты, — он снял с себя фрак, жилет, галстук, расстегнул ворот рубашки, упал на диван и жадно сгрёб одалиску в охапку. — О Мими! — простонал губернатор.

Мими ловко выскользнула из его объятий и, поправляя волосы, показала розовый язычок.

— Потерпи, Алекс. Сначала мы выпьем, затем я спою тебе песенку, которую сейчас распевает весь Петербург. А остальное потом...

Александр Михайлович знал Мими с прошлого года. В Симбирске она появилась через протекцию знатного старого барина, который вывез одалиску из суетной Москвы, чтобы она скрасила умелой нежностью его угасающие дни. Через несколько месяцев симбирский селадон обрёл вечный покой на Покровском кладбище, успев обеспечить даме сердца безбедное будущее, купив ей дом и назначив денежное содержание с условием, чтобы Мими один раз в месяц посещала его могилу с букетом цветов. Своим завещанием покойный барин закрепостил Мими на все дни её жизни: ей было уже около тридцати лет, искать счастье в другом месте было уже поздно, и, поразмыслив, одалиска открыла ателье модной одежды, в которой богатые симбиряне уже давно нуждались.

Обыватели ожидали, что Мими превратит своё ателье в дом свиданий, но этого не случилось. Получив самостоятельность, она уже не нуждалась в покровителе и по своему выбору положила взгляд на холостяка Бенардаки, но хитрый грек ловко переадресовал Мими на Загряжского, которому рекомендовал модистку во время очередного крупного проигрыша в карты. Скоро известная особа была приглашена к губернатору для встречи в приватной обстановке, и Загряжский имел возможность удостовериться в её ненавязчивой общительности.

— Ты выполнила мой заказ? — живо поинтересовался Загряжский.

— А ты, Алекс, шалунишка! — ласково сказала Мими. — Скажи, зачем тебе старушечий наряд? Ужели на бал-маскарад? Тогда мысль нарядиться старухой меня удивляет. Ты ведь офицер гвардии, тебе бы подошёл рыцарский доспех, меч, щит. Хотя в старухе тебя вряд ли кто узнает.

— Ты принесла одежду?

— Принесла, конечно, — слегка надула она губки. — Но ты меня не угощаешь.

— Прости, Мими, я совсем с утра закурился.

После шампанского Мими взяла гитару.

— Бедная моя подруга! Ты находишься на попечении этого ужасного Степана, который бьёт по нежным и певучим струнам обросшими ржавой шерстью кулаками, чекочащая из тебя «комаринского мужика».

Мими настроила гитару и нежно замурлыкала:

*Папироска, друг мой тайный,  
Как тебя мне не любить?..  
Не по прихоти случайной  
Стали все тебя курить.  
Огонёчек твой вшатает  
За движением руки.  
Вот и полночь наступает,  
Наши губы так близки!..*

Мими отбросила в сторону гитару и страстно поцеловала сомлевающего от ожидания губернатора.

После бури наступило затишье. Александр Михайлович считал трещины на потолке, Мими курила воспетую ею папироску.

— Ты, Алекс, ничего не рассказываешь о себе, — капризно сказала она. — Я хочу знать, как ты живёшь. Наши встречи случайны, но, право, ты мне дорог.

— Я это высоко ценю, дорогая, — живо откликнулся Загряжский. — Однако у меня столько обязанностей, что я не волен собой распоряжаться.

— А вот и неправда, — буркнула Мими. — Мне многое о тебе известно, о чём ты и не догадываешься. Например, я знаю, для чего тебе старушечий наряд.

— Ах, да! — спохватился Загряжский. — И где он? Надо его примерить.

— Возьми в кресле и одевайся.

Загряжский распаковал свёрток и разложил на спинках кресел широкую чёрную юбку, чёрную накидку, чёрные перчатки и большую кашемировую с кистями чёрную шаль.

— Помоги мне, — сказал он, окунаясь с головой в юбку. — Где тут застёжка?

Мими помогла ему с помощью двух медных булавок закрепить юбку под мышками, запаковала своего Алекса в накидку и помогла справиться с шалью.

— Ну, как я смотрюсь? — озабоченно сказал Загряжский.

— Ты сейчас, Алекс, — вылитая дуэнья из испанской жизни, — хихикнула Мими. — Может, ты затеял постановку спектакля?

— Конечно, спектакля, — радостно согласился Загряжский. — Но надо маскарад проверить на Степане.

— Как бы он не перепугался, — сказала Мими и занялась приведением в порядок своего туалета.

Тем временем Загряжский подошёл к зеркалу, оглядел себя со всех сторон и, приоткрыв дверь, выглянул из комнаты. Степан был занят подрезкой роз и стоял спиной к своему барину. Загряжский скрылся за мандариновым деревом, затем медленно пошёл по дорожке. Степан обернулся на звуки шагов, ожидая увидеть своего барина, но к нему приближалась старуха — вся в чёрном, показавшаяся ему привидением.

— Свят! Свят! — задрожал он частой дрожью и бросился бежать взапятки. Загряжский взмахнул руками, которые растопорчили полы накидки, как крылья. Это произвело на Степана убийственное впечатление. Он взбежал по приставленной к стене лестнице почти до потолка и завизжал: — Спасите! Убивают!

— Что орёшь, дурак? — Загряжский сбросил с головы кашемировый платок.

— Барин? — поразился Степан.

— Кто ж ещё может здесь быть? Срежь три розы и упакуй в коробку.

Загряжский вернулся к Мими, которая всё видела и очень веселилась, уверовав, что старушечий наряд Загряжскому нужен для домашнего спектакля.

## Глава 9

Пока губернатор предавался интимным шалостям, ловкий камердинер раскассировал просителей: одного направил в канцелярию к Ивану Васильевичу, другому посоветовал обратиться к прокурору, третьего отрядил в судебную палату, четвёртому рекомендовал искать удовлетворения жалобы у полицмейстера, словом, всем указал пути и тропинки, ведущие туда, где обитает непреложная правда и справедливость.

— Никого уже нет? — удивился Загряжский, оглядывая пустую приёмную.

— Все просители удовлетворены, — улыбнулся губернаторский Фигаро.

До наступления ранних сумерек Александр Михайлович просматривал бумаги, поступившие из министерства внутренних дел, зевал, пил чай, смотрел в окно на ворон

и галок. Камердинер зажёл свечи, пришёл истопник и бухнул вязанкой дров об пол в коридоре, забредшая из жилых покоев кошка, любимица дочери, просунула мордочку в приоткрытую дверь и мяукнула. Александр Михайлович посадил её на колени, и она замурлыкала. Хорошо жилось губернаторам два века назад, покойно, уютно, хотя они, конечно, на этот счёт имели совсем другое мнение и сразу бы предъявили реестр обязательных дел, которые губернатор был обязан разрешать ежедневно. От их простого перечисления у непривычного к администрированию человека пошла бы кругом голова, если всё выполнять, как это прописано законом. Однако у Загряжского была своя метода: он предпочитал не утруждать себя изучением бумаг: что ему давались Иваном Васильевичем, то и подписывал, зная, что его не обойдут благодарностью и своё он получит. На этот счёт Загряжский был великий стратег, он никогда непосредственно не ввязывался в сомнительные предприятия, а впрягал в эти дела Ивана Васильевича, а там, где вмешательство требовалось весомое, то и вице-губернатора.

Губернаторская ловкость в получении взяток лучше всех была известна откупщику Бенардаки, он наловчился проигрывать Загряжскому в карты и уже решил, что нашёл к нему верную дорожку, но когда потребовалось разрешение на сплав хлеба расшивами в Астрахань, Александр Михайлович ловко уклонился и посоветовал откупщику обратиться к своему заму. Вице-губернатор запросил за услугу на треть больше обычного. Бенардаки нехотя заплатил, но вскоре догадался, что эта переплаченная треть пошла primero лицу губернии.

Конечно, взятничество — очень увлекательное занятие, но Загряжский занимался им по необходимости, чтобы сводить концы с концами, ибо был беден, а губернаторские расходы были велики. Как раз сегодня ему нужно было срочно встретиться с откупщиком за картами, которые были запрещены, но только не в губернаторском дворце, в котором почти каждую неделю устраивались танцевальные вечера, служившие своеобразным прикрытием для встреч заинтересованных друг в друге людей.

Александр Михайлович направился на половину супруги и застал жену и дочь почти готовыми к выходу. Они были одеты согласно моде своего времени в белые платья, снабжённые рядами воланов, под которыми при движении шуршали по несколько накрахмаленных юбок. Стройность талии обозначал туго затянутый корсет, плечи были обнажены, на ногах, которые тщательно скрывались от мужчин, были надеты шёлковые чулки и башмачки без каблуков, шляпки представляли собой нечто вроде корзиночек с завязанным возле горла бантами из широких цветных лент.

Лиза стала появляться в обществе взрослых совсем недавно, и каждый вечер наполнял её душу трепетным ожиданием чего-то необычного, хотя ничего радикального на губернаторских вечерах произойти не могло. Собирались все свои: вице-губернатор, высокий плешивый старик с глуховатой супругой, прокурор, председатель удельной конторы, председатель судебной палаты, помещики, составявшие партию губернатора, откупщик Бенардаки и неизменный Иван Васильевич. Гости привозили с собой дочерей, которых была пора выводить в свет. Кавалеров для танцев извлекали из батальона, расквартированного в городе, зывали приезжих молодых дворян. Однажды участь подневольного танцора пришлось вкусить Ивану Александровичу Гончарову, за которым близко к полуночи явился от губернатора жандарм в стальной каске с конским хвостом с приглашением на вечер.

Александр Михайлович пристрастным взглядом родителя оглядел дочь и с удовлетворением отметил, что она очень хороша. И впрямь Лиза была улучшенной копией отца, от которого ей достались чёрные кудрявые волосы, живые и выразительные глаза и здоровый румянец на пухлых щёчках.

— Нет, ты только посмотри, Мари! — восхитился Загряжский. — В какую красотулечку превратилась наша дочурка!

— Молодое — молодеет, старое — старится.

— Ну, мы ещё хоть куда! — бодро сказал Александр Михайлович, отводя глаза в сторону.

— Мне, Алекс, необходимо пять тысяч рублей. Наш поставщик едет в Петербург, а Лиза совсем не одета.

Финансовое состояние Загряжского было плачевным, и каждый раз, когда возникала потребность в деньгах, ему приходилось искать выходы. Старая тётушка, с которой так любил беседовать Александр Пушкин, была ещё жива, бодра и деятельна, и на скорое наследство рассчитывать не приходилось.

— Хорошо, я дам тебе эту сумму, — сказал Александр Михайлович. — Может быть, даже сегодня.

Вечера происходили в большом парадном зале с большим количеством зеркал на стенах, в которых так любили отражаться танцоры. Дубовый наборный пол, высокий

потолок с лепниной, люстра на пятьдесят свечей, старинные картины в позолоченных рамах, тяжёлые бордовые шторы, бронзовые подсвечники — всё это придавало залу торжественность обители для существ, высоко стоящих над остальными смертными. Не свита, а обстановка делает короля, например, в Георгиевском зале любая плюгавая личность выглядит персоной. Нечто похожее ощущали и несколько новоприглашённых гостей, помещиков, которые сидели в своих деревнях годами, наконец, выбрались в город, показать своих дочерей, и тут же губернатор залучил их в гости, чтобы очаровать и привлечь на свою сторону против тургеневско-аржевитеновской оппозиции.

Александр Михайлович из новичков выделил сызранского помещика Волобуева, владельца несметных табунов лошадей, отар овец и пятидесяти тысяч десятин первобытной степи. Волобуев лет десять не появлялся в губернском городе, жил себе в усадьбе степным бирюком, но супруга понудила его переехать на зиму в Симбирск в надежде, что их семнадцатилетней дочери подыщется среди многочисленных молодых дворян подходящая партия.

— Что ж, пусть объявят начало танцев, — сказал Загряжский. — А мы, старики, потешимся вистом. Не желаете? — спросил он Волобуева.

— С удовольствием, ваше превосходительство!

Они прошли в угол зала, где за столиком сидели откупщик Бенардаки и его племянник, будущий финансовый воротила. Бенардаки и Волобуев были знакомы, откупщик вёл с ним крупные дела: закупал скот и лошадей, помогал в устройстве суконной мануфактуры.

— А я не знал, Флегонт Максимович, — сказал Бенардаки, — что ты покинул свои края.

— Нужда, братец, нужда. Супруга и дочери — это такая сила, что супротив неё не устоять.

— Вот и думаю, хорошо, что я холостяк, — Бенардаки начал сдавать карты. — Ни забот, не расходов.

Волобуев вздохнул и погрузился в игру. Все были сосредоточены, все старались обрести удачу, но везло только Загряжскому. За какой-то час с небольшим он выиграл обещанные супруге деньги и именно у откупщика, который изо всех сил изображал душевные переживания из-за проигрыша.

— Хорошо, что я деньги с собой не ношу, — сказал Бенардаки и кивнул на племянника. — Вот мой кассир.

Загряжский элегантно взял деньги и, подойдя, к жене шепнул ей на ухо:

— Деньги для Лизы имеются.

Музыка смолкла, топот и шарканье прекратились, вспотевшие кавалеры проводили и сдали своих раскрасневшихся от прыжков и кружений юных дам под присмотр родителей, и тут в зал проникли посторонние звуки, явно не вязавшиеся с благопристойностью праздничного мероприятия. «Не пуцу!» — раздался крик откуда-то с лестницы, а вслед за ним: «Умоляю!»

Иван Васильевич кинулся к двери, гости стали недоумённо переглядываться друг с другом, кто-то из помещиков громко чихнул, этот звук, резкий как выстрел, перепугал моську, которую держала на коленях супруга вице-губернатора, собачонка взвизгнула, упала на пол и мохнатым визжащим клубом покатила под ноги шарахающихся от неё в сторону встревоженных гостей.

В зале появился Иван Васильевич и, подойдя к губернатору, что-то горячо зашептал ему на ухо. Загряжский выслушал правителя канцелярии, кивнул и, обратившись к гостям, весело произнёс:

— Прошу меня извинить. Небольшое недоразумение. Господин Кислицын, молодёжь скучает!

Пианист ударил по клавишам, Александр Михайлович, выйдя в коридор, погрозил кулаком стоявшему навтыжку жандарму и направился в свой кабинет. За ним почти вплотную следовал Иван Васильевич.

В приёмной Загряжский остановился, посмотрел в зеркало, поправил воротник рубахи, стряхнул с рукава пёрышко и открыл дверь. Посреди кабинета стояла молодая и миловидная особа в дорожной одежде, которая, увидев губернатора, упала перед ним на колени.

— Ваше превосходительство! — воскликнула она дрожащим голосом. — Умоляю о сочувствии. Помогите мне. Я несчастна!

Загряжский подошёл к молодой особе и помог ей подняться на ноги. На мгновение они оказались лицом к лицу, и он смог почувствовать её прерывистое дыхание, глаза девицы были наполнены слезами, губы дрожали.

— Успокойтесь, сударыня. Присядьте в это кресло. Так. Хорошо, — он достал из кармана искрящийся снежной белизной платок и вложил ей в руку. — А теперь

рассказывайте, кто вы такая, откуда?

Девушка промокнула платком слёзы и горько вздохнула.

— Дворянская дочь ардаатовского дворянина Варвара Ивановна Кравкова. Я имею сильное желание поступить в Спасский женский монастырь, но, — девушка заплакала, — мне препятствуют...

Заявление Кравковой весьма удивило Загряжского: молодые девушки дворянского звания в монастырь поступали крайне редко, разве что по крайней бедности или сильному религиозному чувству. Данный случай не подходил под эти причины, и Александр Михайлович решил, что здесь он имеет дело с роковой и неразделённой любовью, и сильно заинтересовался. Женолюб и сластник, он был холодно расчётлив в связях с женщинами и, получив своё, смотрел на ту, которой клялся пять минут назад в любви, как на остриженную овцу.

— Кто же вам мешает исполнить столь богоугодное намерение?

— Матушка и братец Дмитрий.

— А что ваш отец?

— Ему безразлично. Он живёт и ни во что не вмешивается.

— Вы прибыли в Симбирск одна?

— Меня сопровождает Павел Дмитриевич Сеченов, сызранский городничий.

— Сызранский городничий?

Губернатор впал в недоумение, но потом вспомнил, что где-то в бумагах он видел предписание графа Блудова о назначении нового сызранского городничего. Созрело решение и относительно Варвары Ивановны.

— Если ваше желание твёрдо и вы его повторите завтра, то я обещаю свою поддержку, но решающее значение имеет слово высокопреосвященного Анатолия. Постарайтесь ему понравиться так же, как вы очаровали меня, — он взял Варвару Ивановну за руку. — Как вы озябли, милая. До скорой встречи... Иван Васильевич, проводите Варвару Ивановну!

Правитель канцелярии, бережно поддерживая девушку под локоток, свёл её с лестницы мимо остолбеневшего жандарма и любопытствующей челяди, вывел на улицу и сдал на руки Сеченову.

— Рекомендую вам остановиться в номерах Караванной, — посоветовал Иван Иванович, — там недорого и чисто. Это на Большой Саратовской, совсем рядом от нас.

Ямщик, которого Сеченов уговорил заехать к губернатору, получив свой заветный двугривенный, кроме того, что был ему обещан в начале пути, повёз беглецов к месту ночлега.

## Глава 10

Оглядевшись в Симбирске, Стогов скоро понял, что попал в весёлый и гостеприимный город, который по вечерам становился многолюдным и шумным от балов, обедов, танцевальных вечеров и гуляний простонародья в святочные дни. В свияжском подгорье, что ни вечер, случались кулачные бои между приказными и кузнецами, хлебопеками и горшечниками. Молодецкая потеха была запрещена законом, но на бои полиция смотрела снисходительно. Стогов тоже не стал вмешиваться в любимое охочими до мордобоя людьми занятие, справедливо полагая, что открытые схватки идут на пользу нравственности народа, а русская пехота, считающаяся лучшей в мире, своим бесстрашием и выносливостью в значительной степени обязана привычке к кулачной забаве.

Эразм Иванович учёл ошибку своего предшественника полковника Маслова — вступать во все дела — и несколько дней придерживался выжидательной тактики: сделал необходимый визит губернатору и посиживал в своём кабинете, прислушиваясь, что о нём говорят в обществе. Но пока о новом штаб-офицере говорили мало, в основном о том, что он холост. Дворяне приглядывались, принохивались к нему с большой опаской и даже страхом, который поразил ещё недавно беззаботную помещицью Россию после событий 14 декабря 1925 года.

Стогов посиживал в своем кабинете и дождался-таки первого визитёра. К нему приехал Борис Петрович Бестужев, отставной лейтенант флота, с приглашением на бал. Эразм Иванович заставил старика себя упрасивать ровно столько, чтобы его согласие не выглядело слишком радостным. В свою очередь он обаял старика похвалами в адрес моряков времён Екатерины Великой, когда русскому флоту были доступны все моря вокруг Европы, а сейчас всё в запустении и разрухе, Балтийская эскадра барахтается в Маркизовой луже, а турки держат флаг по всему Чёрному морю. Старый моряк от таких слов весьма расчувствовался и, вернувшись в свой дом, начал агитацию в пользу Стогова, уверяя всех, что штаб-офицер — дворянин самой высокой чести, а то, что он моряк, сразу увеличивало его достоинство, по крайней мере, вдвое.

В Симбирске балы начинались много раньше, чем в Петербурге, где они открывались

после представления в театре. Стогова об этом уведомил уже третий за сегодняшний день визитёр, офицер гвардии, пребывающий в годовом отпуске, который даже не подумал присесть на предложенный ему жестом руки кабинетный стул. После его ухода Эразм Иванович плотно поужинал и стал одеваться к выходу. Морская служба, коей он отдал лучшие годы своей жизни, не располагала к весёлому времяпрепровождению, на Камчатке балов не давали, но в Морском корпусе воспитанники получали твёрдые основы бального этикета. И облачившись в мундир, подполковник, подыгрывая себе на губах, сделал несколько па мазурки, затем несколько вальсовых движений, но в дверь сунулся жандарм и доложил, что сани поданы.

Крупно вызвездило. На Большой Саратовской, где ждали гостей, возле усадьбы горели костры, чтобы осветить крыльцо и для обогрева кучеров. Стогов отпустил доставившего его к дому Бестужева жандарма и велел приехать за собой через три часа. «Этого времени, — решил Эразм Иванович, — мне будет вполне достаточно, чтобы сделать первую разведку и не наскучить новым знакомым. Жандарм, если он хочет добиться успеха, должен выглядеть всезнающим и загадочным».

В просторной прихожей хозяйский лакей ловко Стогову освободиться от шинели и на вытянутых руках донёс её к вешалке, где водрузил на свободный крючок, рядом с шинелью генерала статской службы, а фуражку жандарма бережно положил на полку, вплотную к генеральскому бобру.

Стогов поднялся на несколько ступенек, повернулся к входу в зал и попал в объятия хозяйна, который весьма по-свойски и во весь голос возгласил собранию, кто осчастливил его дом своим присутствием. Эразм Иванович сделал общий полупоклон всем присутствующим и, направляемый Бестужевым, остановился возле представительного своей наружностью князя Баратаева.

— Михаил Петрович уже четвёртый срок как губернский предводитель дворянства.

— Благородное собрание, кое я имею честь представлять, счастливо приветствовать высочайше назначенного в Симбирск штаб-офицера Корпуса жандармов.

Стогов, щёлкнув каблуками, пожал предводительскую руку с некоторой холодностью, поскольку при отбытии в Симбирск познакомился с секретным досье на князя, до недавнего времени числившегося масоном и возглавлявшего ложу «Ключ к добродетели».

— Выбирайте занятие себе по вкусу, — добродушно произнёс Бестужев, когда они покинули председателя уголовной палаты Племянникова. — Вы холосты и поразглядывайте наших невест. Скоро будет музыка, немного погода обед, затем собственно бал...

— Вы не сказали про карты, — лукаво заметил Стогов. — Или здесь не играют?

— Только коммерческие игры, — признался Бестужев. — Желаете взглянуть?

В конце зала была обширная ниша, нечто вроде грота, где возле двух столов сидели дамы.

— Кажется, Борис Петрович, ты догадался, что нам недостает одного партнёра, — сказала очень строгоя с виду дама и окинула Стогова оценивающим взглядом.

— Это, Марья Алексеевна, наш новый присланный государем жандарм, — довольно бесцеремонно сообщила поблекшая, но сияющая драгоценными камнями особа. — Он назначен вместо этого подкаблучника полковника Маслова.

За столами прошелестели шепотки, некоторые особы, не в силу невоспитанности, а оттого, что были подслеповаты, принялись лорнировать Эразма Ивановича, который повёл себя очень умно тем, что принял позу светского завсегдатая бальных ристалищ, изящно поклонился и бойко прощепетал по-французски о счастье, кое он испытывает, находясь в столь во всех отношениях благородной компании.

— Вы, сударь, ловко толкуете по-французски, — сказала Мария Алексеевна. — От сего делаю заключение, что вы не женаты?

— Служил на Камчатке, — пригорюнился Стогов. — Все двенадцать лет. В Петербурге, можно сказать, среди высоких людей потерялся. Попросился в провинцию. Здесь нравы чище, дворянство самородное, а не приказное, как в столице.

После столь многозначительных слов все обратили свои взгляды на Марью Алексеевну, которая должна была дать оценку Стогову, и прозвучало неслыханное: она пригласила жандарма за свой стол:

— Вы, господин Стогов, в простенькие игры не балуетесь?

— Почту за неперменное удовольствие, — витиевато произнёс Эразм Иванович и, откинув фалды мундира, присел на краешек стула.

— Ну-с, и какая вам дама по нраву обликом? — строго спросила Марья Алексеевна, сдавая карту. — Блондинка? Шатенка? Или брюнетка?

— За красотой внешней я не гонюсь, — скромно произнёс Стогов. — Но жена должна быть не лишена приятности. Красота человека не на лице, а в его сердце. Но этого сразу не разглядишь. Торопиться в выборе супруги никогда не надо.

Играли в бостон, в длинную и покойную игру, и Стогов успешно вписался в компанию старых приятельниц, родственных друг другу в близких и неблизких коленах дворянок, которые своими неспешными манерами, житейской прозорливостью, а также деревенской простотой, завистью и любовью к сплетням олицетворяли собой всё лучшее и не очень, что было присуще женской половине благородного сословия Симбирской губернии. Эразм Иванович за полчаса разыгранной талии много в чём просветился из жизни губернского города. Имена губернатора («пустого фата и волокиты»), его жены («несчастной, но вздорной гордячки») и других известных лиц упоминались почти каждые полминуты, и Стогов впитывал, как губка, слухи, домыслы, сплетни, которые витали между картёжницами, и был на вершине административного блаженства от того, что ему с первого захода удалось сделать то, что никогда бы не сумел этот растяпа полковник Маслов, которого бы и на порог сюда не пустили из-за его жены, известной своими амбициями и ядовитым характером.

Эразм Иванович был так доволен собой, что чуть не проглядел свой неизбежный выигрыш, а этого нельзя было допустить. Его партнёрши в предчувствии катастрофы тоже поутихли, но Стогов быстро нашёлся: неловко потянулся над столом и стёр написанный мелком ремиз. Этот поступок выручил Марию Алексеевну, но Эразм Иванович стал извиняться и выражать готовность услужить дамам, и они, в свою очередь, принялись уверять партнера, что ничего страшного не произошло. В результате все остались премного довольны друг другом и продолжили развлекаться, пока удары гонга не призвали гостей на ужин, который был выдающимся от явленных на столе блюд из стерляди, паюсной икры и прочих даров волжской природы, которые были приготовлены и по-французски, и по-русски, на всякий вкус, а он у симбирских дворян был отменным и весьма привередливым.

Стогова усадили на достойном месте, рядом с губернским прокурором и комиссариатским полковником, который смотрел на штаб-офицера с обожанием, как на вешнее солнышко. После большой рюмки очищенной Шуинг довольно внятно произнёс:

— Слава господу, к нам назначен штаб-офицер, на которого можно положиться во всякой беде, — неожиданная реплика седого вояки вызвала любопытствующие взгляды ужинающих дворян, и Шуинг счёл нужным объяснить: — Как известно, у меня была украдена старинная бронза. Я уже отчаялся её обрести. Однако господину штаб-офицеру это удалось сразу, как он только обратил на это дело внимание. Я восхищён вашей распорядительностью, господин штаб-офицер!

Эразм Иванович с большой выдержкой встретил эту совершенно неожиданную для него похвалу, поскольку не видел Шуинга и, конечно, не ведал о постигшем его несчастье. Но все гости сочли, что полковник вернул своё добро благодаря штаб-офицеру.

История с бронзой была широко известна, а тут такая новость, и все зашушукались, передавая её друг другу от генеральской части стола до его загиба за деревянную колонну, где сидел отставной поручик Сажин и, презирая разносолы, налегал на очищенную. Когда до него донеслась весть о подвиге штаб-офицера, он истолковал её в любезном для себя смысле и, поднявшись из-за стола, срывающимся на хрип фальцетом прокукарекал:

— Виват жандарму!..

Сажин был племянником хозяину, его знали как человека, с удовольствием играющего в хмельном виде роль забавника, и встретили реплику одобрительным позваниванием хрусталя, одновременно приглядываясь к Стогову, как он проглотил дурашливый выкрик симбирского шалопая, но Эразм Иванович добродушно улыбался и даже самый дотошный физиономист не смог бы найти на его лице признаков недовольства.

Окончание ужина обозначили музыкальные аккорды, и молодёжь стала подниматься из-за стола: начиналась самая увлекательная часть вечера, собственно бал, где молодые, не жалея ног, скакали, топали и кружились, а особы, обременённые узами брака, или бросались за ними вслед, или присоединялись к тем, кто находил себе удовольствие смотреть на «племя молодое и незнакомое» и необидно брюзжать, что в их годы всё было лучше и привлекательнее.

Об этом со вкусом рассуждала Марья Алексеевна, к которой после ужина вновь присоединился Стогов:

— В наши годы балы были редкостью, от силы два-три раза в год барышни имели возможность показать свои наряды, которые были много проще, но элегантнее теперешних. И танцы были скромнее. Помнится, в Москве на балу у графа Шереметева я танцевала длинный польский, по-нынешнему полонез. Право, это был воистину королевский танец, больше похожий на дефилирование, во время которого барышни являли свою грациозность, а кавалеры — осанку. А это что?.. Говорят, какой-то вальс

из Германии явился на наши головы. По мне, так он не лучше «камаринского мужика», только там выламываются вприсядку, а здесь, облапив друг дружку, ходят и кружатся на прямых ногах.

— Это так, — поддакнул Стогов. — Но боюсь, к нам скоро явятся такие танцы, что вальс покажется забавой.

— Что это вы такое пророчите, Эразм Иванович? — забеспокоилась Марья Алексеевна. — Ужели может быть хуже этой немецкой пляски?

— К нам в Петропавловск-на-Камчатке заходят корабли из Америки и Англии. Приходилось их принимать, устраивать застолье с музыкой. Янки — большие любители танцев, и они танцуют этот вальс так, что страшно вымолвить.

— Это ж как? Не жалей, Эразм Иванович, старуху, говори!

— Что вы такое на себя наговариваете, Марья Алексеевна! Вы — дама в цветущем возрасте. А танцуют янки так, что тем, у кого слабое сердце, лучше отойти в сторону... — дамский кружок замер в ожидании, и Стогов вымолвил: — Они танцуют впритирку друг с другом.

Дамы на мгновение оторопели, словно жандарм сказал что-то сверхгадкое и непристойное, но скоро у некоторых в глазах засверкали искорки смеха. Однако приговор сказанному был суровым:

— Всему свету известно, что янки — это мужланы, от них ничего приличного нет и не будет, — поставила точку в приговоре пляшущим впритирку с партнёршами распутным американцем Марья Алексеевна.

Затем разговор перекинулся на танцующую публику, и за полчаса Стогов узнал очень много о симбирских дворянах, разумеется, всё положительное, даже хвалебное, но главное для жандарма было в том, что он быстро разобрался в настрое, который имело благородное общество к губернатору. Эразм Иванович выяснил, что центром кристаллизации недовольства начальником губернии были Аржевитинов и Тургенев. Первый пользовался колоссальным авторитетом как герой-инвалид войны 1812 года, а второй принадлежал к семейству Тургеневых, где все были масонами, и к ним с почтением прислушивалась падкая на вольнодумство молодёжь.

Стогов не мог уйти с бала, не познакомившись с этими выдающимися людьми, и заглядывался по сторонам, призывая кого-нибудь, кто помог бы ему освободиться от ненужного ему общества Марьи Алексеевны и её свиты кумушек. Искать выручку Эразму Ивановичу долго не пришлось, к нему довольно робко и, вместе с тем, целеустремленно приблизился молодой человек самого простодушного вида, небрежно одетый, но явно небедный, так как на среднем пальце правой руки отсверкивал крупный бриллиант стоимостью в десятки тысяч рублей, вправленный в массивный золотой перстень.

Отрекомендовавшись Мотовиловым, молодой человек увлёк Стогова в пустую комнату, примыкавшую к залу, где кружилась в танце молодёжь, и забормотал о таких вещах, что штаб-офицеру пришлось пару раз встряхнуться, чтобы понять смысл услышанного.

— Имею честь быть совестным судьёй Симбирского уезда, — доверительно сообщил молодой человек. — Имею желание довести через вас, как доверенное лицо власти, о пророчестве великого старца Серафима, который в четверток на Светлую Пасху в прошлом году объявил, что порча России началась с якобинства и масонства, которые отнюдь не выведены разоблачением декабристского заговора и запрещением злоучения масонства в 1822 году...

— Вы имеете на руках неопровержимые факты? — вполне официально произнёс Стогов. — Или это ваши предположения и домыслы?

— Фактов сколько угодно! — Мотовилов с сожалеющим видом окинул взглядом жандарма. — Недавний бунт в Царстве Польском — это не факт? Провидение старца Серафима гораздо надёжнее всех фактов. Но разве не видно повсеместное в Европе и Америке отступление от святой вселенской веры Христовой, организованное из змеиных гнездилищ масонских лож: Нью-Йоркской, Калькутской и тысяч мелких лож по всему свету, всемирно возглавляемых клубом Юнион в Париже...

— А что, в Симбирске есть ложа? — небрежно поинтересовался Стогов.

— Как ей не быть! — горячо воскликнул Мотовилов и указал взглядом на князя Баратаева. — После выхода в двадцать шестом году из казанского университета я в том же году остался круглым сиротой. И скоро согреть моё сиротство явился Баратаев, предложивший присоединиться к симбирским масонам.

— И что же вас остановило? — поинтересовался Стогов, искавший скорейшей возможности прекратить опасный разговор, который мог быть подслушан и истолкован обывателями во вред жандарму.

— Я ещё в своём раннем детстве слышал, как отец говорил матушке: «Береги Колю от масонов, если меня не станет! Именем моим закажи ему не ходить в их богоборное

общество — погубит оно Россию! Оно есть истинное антихристианство».

— Вы это объявили князю Баратаеву? — Стогов решил оставить свои опасения и ковать железо, пока горячо. — И сейчас утверждаете, что всё это происходило в двадцать шестом году?

— Как на духу, — подтвердил Мотовилов. — У меня после знакомства в университете с книгой о масонах были видения, предсказавшие мне мою судьбу, что я должен идти против масонства и всего с ним тождественного и в противление Господу Богу имеющегося.

Стогов никогда не встречал столь пылкого в своих убеждениях человека и разглядывал Мотовилова с интересом натуралиста, которому в руки попался невиданный им экземпляр двуногой особи, пытающейся противостоять силе, способной опрокинуть всё человечество в адскую пропасть.

«А ведь он опасен не менее вольтерьянца своим неумным правдолюбием и выпадами против человека, коего благородное сословие всей губернии уже четыре раза избирало своим предводителем».

— Князь поклялся, что мне теперь никогда и ни в чём не будет успеха, — сказал Мотовилов. — Но я этого не страшусь. И прошу вас, господин штаб-офицер, довести до сведения императора то, что объявил великий старец Серафим в четверток на Святую Пасху тридцать второго года.

— Этот разговор без последствий не останется, но я бы просил вас, господин Мотовилов, не повторять то, что сейчас говорили, в обществе.

До окончания бала было ещё далеко, и Стогов, решив поблагодарить хозяина за гостеприимство, нашёл Бестужева в бильярдной, где Бестужев сражался со своим постоянным соперником Аржевитиновым. Эразм Иванович решил не мешать окончанию партии и присел на диван. Бестужев был длиннорук и мог дотянуться на зелёном столе до любого нужного ему места без всяких затруднений. Его сопернику было труднее: он подпрыгивал вокруг стола на деревяшке, обтянутой тонкой кожей и прикреплённой чуть ниже колена к правой ноге.

Скоро Аржевитинов с треском вогнал победный шар в лузу и сказал слегка обескураженному Бестужеву:

— Ты часом не ведаешь, Борис Петрович, на что нужны жандармы? В двенадцатом году мы французов выдворили без всяких жандармов. А теперь выходит, что без них и шагу ступить нельзя.

Поняв, что вопрос адресован ему, Стогов не смутился бесцеремонностью заслуженного ветерана и тонко улыбнулся:

— Государство — живой организм, и со временем в нём что-то да ветшает, начинает прихварывать...

— И чем же больна Россия? — задиристо воскликнул Аржевитинов.

— А той же хворью, что и при Годунове. К несчастью, благородное сословие у нас падко на всякую западную заразу. Франкмасонство стало чем-то вроде зубной боли.

— А вы, стало быть, зубной врач? — усмехнулся Аржевитинов.

— Вроде этого, — усмехнулся Стогов. — Чего только не сделаешь ради общественного спокойствия: приходится и наговором лечить, и щипцами. Вот у вас нет согласия с губернатором, так на то будет ваше и Тургенева желание, то я организую перемирие.

Аржевитинов, стуча деревяшкой, приблизился к Стогову, внимательно всмотрелся в него и протянул руку:

— Можно попробовать. Сдаётся мне, что вы человек строгих правил и не шутите.

## Глава 11

Зимой Симбирск, по сравнению с летним временем, заметно оживлялся, становился настоящим «дворянским гнездом» или городом-дворянином, как с явной долей бахвальства называли его здешние обыватели, задирая, по вполне понятной причине, носы перед Самарой, где гнездились купечество, или Саратовом, где дворянство было помельче, чем симбирское — родовитое и столбовое.

До Москвы было далеко, и губернское барство съезжалось в город из своих поместий, чтобы весело провести рождественские праздники, просватать дочерей и женить сыновей, повеселиться на балах, поиграть в карты и вволю посплетничать. Что греха таить, сплетни успешно заменяли собой отсутствие губернской газеты, они молниеносно разносились из одного конца города в другой, поскольку Симбирск, как в те годы, так и сейчас, обладает фантастической сверхпроводимостью для сплетен, слухов и всяких досужих вымыслов. Чихнёт Иван Васильевич в своём доме на Ново-Казанской улице, а в другом конце города в громадном особняке в Винновской роще барыня Кроткова сразу же сообщит мужу, что Иван Васильевич крепко захворал, и

приходил священник соборовать его и исповедать. Поразительная сверхпроводимость Симбирска не давала скучать обывателям, каждый из них, просыпаясь поутру, сразу же узнавал от кухарки, молочницы или прохожего человека, окликнув его через форточку: «Что новенького?», о похоронах сторевшего на работе чиновника питейного акциза, о краже из будки стражника мешка нюхательного табака, продажей которого промышлял служивый, о досрочных родах у молодой вдовы, которая всегда числилась в неродихах, семимесячного младенца. Всё это возникало, обсасывалось и передавалось далее в определённые центры, где пустые и вздорные пересуды и факты генерировались и пускались в обращение двумя-тремя конкретными лицами, из которых главной была коллежская регистраторша Караваева.

В те годы в Симбирске наискосок от усадьбы, где родился великий русский писатель Гончаров, находился большой двухэтажный дом, сторевший впоследствии во время пожара 1864 года. Владелицей домовладения, приспособленного под гостиничные номера, была Анна Петровна Караваева, особа в городе широко известная и авторитетная. К ней и направил Иван Васильевич свалившихся на его голову хлопотных гостей — Кравкову и Сеченова. Ямщик хорошо знал это место и мигом домчал их к широкому подъезду, над которым помаргивал, качаясь на ветру, масляный фонарь. Павел Дмитриевич помог Варваре Ивановне выбраться из кибитки, вынул вещи, и они поднялись на крыльцо.

На входе их встретил мужик в валенках и овчинной безрукавке.

— Чего изволите? — прохрипел он, вставая со стула.

— Нам бы надобно хозяйку, — ответил Павел Дмитриевич, окидывая взглядом переднюю и принявываясь, потому что по запаху можно сразу определить, какого пошиба это заведение. Чуткие ноздри Сеченова уловили запах лука и жареной рыбы, которые сочлились из тускло освещённого коридора.

— Пройдёмте в залу, — прохрипел мужик и провёл гостей в большую и чистую комнату.

Павел Дмитриевич, усадив Кравкову на мягкий диван, осмотрелся. Кроме дивана, на котором расположилась Варвара Ивановна, в зале было ещё кресло, а в углу образ владычицы, перед ним лампада, аналой, на полу вытертый коврик, а напротив — деревянная скамья со спинкой, из так называемых твёрдых диванов. Сеченов подошёл к образу, поправил лампадку и три раза перекрестился. Это действие вывело Варвару Ивановну из состояния тупого равнодушия, в котором она находилась после своего выхода из губернаторского дома. Она, издав какой-то странный звук, вскочила с дивана, упала перед иконой на колени и начала истово молиться.

Сеченов из-за уважения к религиозному чувству своей подопечной, которое охватило её столь непосредственно и искренне, направился было в коридор, но в комнате кто-то зашёлся в курецком кашле, а затем охрипшим фальцетом спросил:

— Кого это ещё черти принесли? Только вошёл в сон, где мне явилась такая смачная модаванка, как меня выкинули обратно противным поросячьим повизгиванием. Вот сейчас поднимусь и вздую, кто бы это ни был!

За диваном послышалась возня, в ответ на которую обиженный руганью незнакомца Сеченов взял подсвечник и осветил тёмный угол. Варвара Ивановна легко вспорхнула с пола и живо спряталась за широкую спину своего покровителя.

Грубияном оказался господин, обеими руками крепко державшийся, чтобы не опрокинуться, за спинку дивана и очумело лупавший красными с перепоя глазами на приезжих.

— Милостивый государь! — свистящим шёпотом спросил Сеченов. — Что вы такое себе позволяете?

— Это вы что себе позволяете? — господин покачнулся, но быстро обрёл равновесие и стал выбирать из-за дивана. — Я после обеда на бестужевском балу явился засвидетельствовать своё почтение разлюбезной Анне Петровне, а её где-то, пардон, черти носят, — господин, а это был Сажин, приблизился к Сеченову и уставился на него немигающим взглядом. — Мы, кажется, знакомы. Вы не служили в Одесском пехотном?

— Кто такая Анна Петровна? Хозяйка номеров?

Сбитый с толку встречными вопросами Сажин замотал хмельной головой и упал на диван.

— Анна Петровна — это моя муза! Впрочем, какова она, я могу и пропеть:

*Разгульна, светла и любовна,  
 Душа веселится моя;  
 Да здравствует Анна Петровна,  
 И ножка, и ручка ея!  
 Ланиты её молодые  
 И девственный бархат грудей;*

*Блаженной избранников рая  
Гусар, полюбившийся ей...*

Сажин не смог закончить своего вокала и вновь предался похрапыванию, а Сеченов почувствовал, что кто-то потянул его за рукав. Он обернулся и встретился с томным взглядом приятной особы весьма пышных форм. Павел Дмитриевич последовал за ней в коридор, забыв о пьяном поручике.

— Вы хозяйка? Анна Петровна?

— К вашим услугам...

— Сеченов, Павел Дмитриевич. Нам нужно два номера, разумеется, отдельных.

Они обсудили условия, и Анна Петровна отвела жильцов в предназначенные им комнаты. На верхнем этаже всё было чище и лучше. Если внизу пахло дёгтем от сапог, то здесь это не ощущалось. Коридор имел приятный и весёлый вид, по обе его стороны были окна, на подоконниках стояли цветы: герани, бальзамины, красный лопушок, ванька мокрый и аспарагус. Пол в коридоре блестел свежей охрой, видимо, его каждый день мыли горячей водой с мылом. Пол был накрыт широкой джутовой дорожкой с цветной каймой.

В своём номере Павел Дмитриевич обнаружил кровать, стол, два стула, комод и умывальник. В углу висел образ мученика Пантелеймона с лампадкой. Сеченов открыл комод и стал раскладывать свои вещи. Затем разделся, облачился в халат и пошёл к Варваре Ивановне. Его передвижение не ускользнуло от бдительной Анны Петровны, наблюдавшей за всем, что происходит в коридоре при помощи зеркала, укреплённого на полуоткрытой двери комнаты, которая служила конторкой. Караваева в мягких войлочных тапочках подошла к номеру Кравковой и прикинула к скважине. Зорким глазом она увидела, что гости собираются ужинать, на столе лежала нарезанная ветчина, сыр и стояла бутылка из тёмного стекла. Через какое-то время её терпение было вознаграждено. Сеченов пожелал узнать, как было дело у губернатора.

— Его превосходительство очень добр, — сказала Варвара Ивановна. — Он обещал поговорить с высокопреосвященным Анатолием по моему делу. Ах, Павел Дмитриевич! Завтра я увижу свой монастырь!

— Я бы посоветовал вам, Варвара Ивановна, обдумать свой шаг. Вспомните, что вы молоды, — сказал, вставая со стула, Сеченов. — Монастырь как стоит, так и будет стоять, а жизнь человеческая идёт. Впрочем, не поймите так, что я вас отговариваю.

— Ах, знать бы, как там мои родные, — вдруг загрузила Кравкова. — Конечно, они меня осуждают, но что мне оставалось делать. Испытав столь роковое чувство, успокоение своей душе я могу обрести только в монастырской обители.

— И всё-таки ещё раз обдумайте свой шаг, — сказал Сеченов. — Имея такое приданое, вы можете себе обрести и мирское счастье.

— Ах, не искушайте меня, Павел Дмитриевич, — жалко вымолвила Кравкова и, обратясь к образу, зашептала молитву.

Подобрав юбку, Анна Петровна бросилась в свой закуток. Она пришла в страшное возбуждение и, запершись, принялась раскладывать увиденное и услышанное по полочкам. Усиленная работа мысли привела её к непреложному выводу, что вокруг приезжей парочки скоро завяжутся нешуточные дела с участием первых лиц губернии. В последнее время авторитет Караваевой как самой сноровистой всезнайки пошатнулся, а тут привалила удача: дело, завязанное с духовными и гражданскими властями, тайным появлением Сеченова и Кравковой, неясной связью между ними, это обещало перспективное следствие, которое Анна Петровна всегда проводила скрупулёзно и глубоко.

Обычно Караваева любила утром понежиться на перине, пышной и мягкой, как сама хозяйка, отобранной пёрышко к пёрышку от хохлатых гусынь, которых держал её духовный отец Василий, но на следующий день она вскочила с постели рано утром и, не обращая внимания на приставания насчёт гривенника на опохмелку со стороны истопника, бросилась на Ново-Казанскую улицу, где в собственном доме проживал губернаторский Иван Васильевич, твёрдо зная, что тот не спит, а занимается колкой обязательной дюжины чурбачков — прописанное ему доктором средство от головокружения, одновременно с пивками. Так и было: Иван Васильевич во дворе махал колуном, разваливая берёзовые комли. Увидев Караваеву, он не удивился, вытер со лба пот и положил колун на чурбак. Караваева тут же поведала правителю канцелярии о своих постояльцах, присовокупив к рассказу свои предположения.

— Интересно, интересно, — задумчиво сказал Иван Васильевич. — Спасибо, Анна Ивановна. Надеюсь, вы понимаете, что это всё нужно держать в секрете. Дело может вылиться в большую неприятность.

— Я никому не говорила и не скажу. Кроме вас, — пообещала Караваева и подумала: «Как бы не так!»

— Приглядывайте за ними. Сдаётся мне, что скоро эта парочка не даст скучать ни

губернатору, ни его жене.

Караваева восприняла последние слова Ивана Васильевича как награду за новость, он направлял свою доносчицу на след, который неминуемо должен в этом деле возникнуть: Кравкова была смазлива, а Загрязский не пропускал мимо себя ни одной юбки, чтобы не попытаться под неё заглянуть.

Пока хозяйка отсутствовала, добившийся опохмелки истопник затопил печи, но забыл открыть в одной из них задвижку, коридор наполнился дымом, и потревоженные жильцы плавали в нём, как караси в тине. Истопник был немедленно уволен, коридор проветрен, печи протоплены по второму разу, жильцам предложили чай и, в виде извинений от хозяйки, сахар, чего обычно не делалось.

Павел Дмитриевич, вопреки своему обыкновению человека крайне любопытного, не отозвался ни одним движением на суматоху в коридоре, он лежал на кровати и обдумывал свой визит к губернатору, которому должен был представиться как вновь назначенный городничий. Сеченов продумывал, что бы ему сказать такое на аудиенции, как выделиться в лучшую сторону перед губернатором, потому что начальство судит о подчинённых по первому впечатлению, каким городничий покажется губернатору, таким он и будет в его мнении во всё время пребывания у власти. Павел Дмитриевич выдумывал разные позиции, которые он может занять во время представления губернатору, например, высказать своё мнение о наведении чистоты улиц, о противопожарных мерах, о запрещении разгульного шатания молодёжи по вечерам. На этот счёт у него были идеи, возникшие ещё в Саранске и не воплощённые в жизнь по тупости местных обывателей.

Потревожила Сеченова ключница, принеся чай с хозяйским сахаром. Чай он любил пить горячим, и, чтобы не пропадать добру, пришлось подняться, достать каменные баранки и, перекрестившись на образ, приступить к утреннему священнодействию чаепития. Павел Дмитриевич чай пил из блюдца, налив в него оживляющую влагу, он несколько раз дул на неё, потом откусывал крепкими зубами кусочек сахара и шумно втягивал порцию чая в себя. Одновременно с употреблением бодрящего напитка мысли его стали приходить в более строгий порядок, самым разумным для себя он окончательно определил на аудиенции держаться строго, достойно и ничего лишнего не говорить.

Ожидаемая встреча, увы, не состоялась. Сеченов допивал свой чай, а по Большой Саратовской улице, свернув на неё с Дворцовой мчался Дмитрий Кравков. Бросившись в погоню за сестрой и коварным обольстителем, он всю ночь спешил на перекладных в Симбирск и, прибыв туда, кинулся к губернатору, учинил в швейцарской страшный шум, но ничего не добился и, по подсказке дежурившего там жандарма, кинулся в караваевские номера.

Когда Дмитрий Кравков ворвался в номер Павла Дмитриевича, тот порядком струхнул, но присутствия духа не потерял, вспомнив о своём официальном статусе сызранского городничего.

— Вы негодяй! — страшно закричал молодой Кравков. — Вы подло злоупотребили нашим доверием, прикинувшись честным человеком и дворянином!

С этими словами он бросил на пол снятую с руки овчинную рукавицу.

— Это что, вызов? — презрительно спросил Сеченов. — Вы забываетесь, молодой человек! Я — сызранский городничий, лицо официальное, государственное. Немедленно извинитесь и бегите из города, пока вас не упекли по моему представлению на гауптвахту!

— Вы, сударь, негодяй и подлец! — в исступлении заверещал Кравков.

— А вы — мальчишка и молокосос! — взревел Сеченов. — Вас за ваши вздорные выдумки нужно ставить на горох и сечь крапивой!

— Я... Я... Я вас пристрелю, как собаку! — Кравков сунул руку под бекешу, вытащил пистолет и направил его на Павла Дмитриевича.

Сеченов был пехотным офицером и боялся только пощёчин, но никак не оружия. Он смело шагнул в сторону противника, раздался выстрел, пуля пролетела мимо, разбила стекло, и его обломки посыпались на ошарашенных прохожих. Павел Дмитриевич крепко схватил Кравкова за руку и отобрал оружие.

— Сопляк! — и крепкими тумаками стал вышибать его из комнаты.

Скандал в комнате Сеченова моментально донёсся до ушей Анны Петровны. Она выскочила в коридор и столкнулась с перепуганной ключницей, уже вооружённой бельевой скалкой, по лестнице на второй этаж взбежал дежуривший внизу человек, и они втроём поспешили к номеру Сеченова, дверь которого с треском отворилась, и под ноги гостиничной команды и любопытствующих жильцов кубарем вывалился Кравков, а следом вылетели пистолет и овчинная рукавица.

— Какой ужас! — воскликнула Анна Петровна, и было непонятно, чего в её

голосе больше — ужаса или восторга. Её взгляд чётко примечал следы и детали происшествия, всё это понадобится, чтобы украсить свою версию произошедшего узорами достоверности и фактов. А пока она очень хладнокровно произнесла: — Фёдор! Помоги молодому барину спуститься вниз, — человек исполнил приказание хозяйки, она ещё раз оглядела поле боя и указала на овчинную рукавицу: — А с ней что делать?..

— Возьмите себе, — сказал Павел Дмитриевич, приглаживая растрёпанные в схватке бакенбарды. — Она ему больше не понадобится.

Анна Петровна движением глаз отправила ключницу подальше и внимательно посмотрела на Сеченова. Тот, чувствуя, что она хочет с ним поговорить, пригласил её к себе.

— Ужасный для моего заведения конфуз, — скорбно произнесла Анна Петровна. — У нас подобного ещё не бывало.

— Как я могу сгладить причинённый вам урон? — спросил Павел Дмитриевич. — Впрочем, ничего не поломано, не разбито. Отвечать должен этот буян Кравков, я здесь пострадавшая сторона.

— Но он пришёл к вам, — резонно заметила Анна Петровна. — Я должна знать всё. Считайте, что это все претензии к вам. Выстрел слышали многие, и этого не скроешь. Придётся отвечать на вопросы... Нет, с полицмейстером у меня прекрасные отношения, но общество не преминет заинтересоваться, и в ваших интересах, чтобы я создала о вас благоприятное впечатление.

И Сеченов рассказал ей всё, начиная со знакомства с Метальниковым, кончая прибитием в Симбирск.

— Это же чувствительный роман! — восторженно воскликнула Анна Петровна. — Как жаль, что наш земляк Карамзин ушёл из жизни, он бы мог всё это запечатлеть. Его сочинение «Бедная Лиза» было моей настольной книгой, когда я воспитывалась в пансионе. А вы благородный человек, Павел Дмитриевич! Решиться на такое сможет далеко не каждый.

— Как бы мой героизм не вышел мне боком, — хмуро сказал Сеченов. — Мне нужно сегодня быть у губернатора, а тут этот буян, выстрел...

— Успокойтесь, Павел Дмитриевич! — загадочно произнесла Анна Петровна. — Я на вашей стороне. И вы скоро убедитесь, что моё мнение в этом городе кое-что значит.

## Глава 12

Первым на выстрел, прозвучавший в номерах Караваевой, явился полицмейстер майор Орловский, который в этот час прогуливался по Большой Саратовской в щегольских санках, опробуя в оглоблях башкирского мерина, подаренного его полицмейстерскому высокоблагородию купцом Синебрюховым в зачёт тех милостей, кои неизбежно последуют от майора на уже близкой Сборной ярмарке, где полицмейстер всегда был одним из главных распорядителей.

Игнатий Мартынович, сдерживая ретивого коня, проехал мимо Воскресенского собора, миновал Московскую улицу и обратил внимание на людей, которые, размахивая руками, гаддели под окнами гостиницы. Опытным взором бывалого полицейского он окинул дом и сразу увидел, что на втором этаже выбито стекло, и кто-то изнутри пытается заткнуть дыру подушкой. Орловский решил это дело расследовать и направил коня в открытые ворота двора гостиницы, остановился возле крыльца, кинул вожжи выскочившему из сеней дворнику и строго спросил:

— Кто учинил буйство?

— Не могу знать! — отчеканил кутузовский ветеран. — Только-с ворвался молодой офицер и сцепился с постояльцем. И почти сразу — бах!.. А следом этот офицер кубарем вниз покатился, подхватился и выбежал на улицу.

— Анна Петровна у себя?

— Была наверху.

Игнатий Мартынович знал дорогу в хозяйкину каморку, поскольку бывал в ней много раз по делам приватного свойства, и, быстро поднявшись по лестнице, проследовал по коридору до полуоткрытой двери, за которой Караваева облачалась в лисий салоп, чтобы срочно бежать в губернаторский дворец к Ивану Васильевичу.

— Ах! — воскликнула Анна Петровна, увидев полицмейстера. — Вы уже здесь!

— Я и должен быть раньше всех на месте преступления! — важно заявил Орловский. — Объясните, что тут случилось?

— Пока и мне ничего неизвестно, — извернулась Караваева. — Но, кажется, это из-за девицы Кравковой, которая вечер бросилась в ноги губернатору, чтобы он помог ей определиться в Спасский женский монастырь. Я спешу во дворец, ведь там ничего не знают.

— Мои сани к вашим услугам, — предложил Орловский, миг понявший, что ему выпадает случай отличиться перед губернским начальством скорейшим раскрытием явно преступного происшествия.

Между тем слух о выстреле в номерах Караваевой с быстротой молнии облетел весь город. То там, то здесь были видны сбившиеся в кучки обыватели, взволнованные произошедшим событием, то там, то здесь на Большой Саратовской съезжались друг к другу санки, запряжённые лошадьми, и совершающие утренний моцион представители благородного сословия, старые и молодые, взахлёб обсуждали случившееся. В город будто ворвалась свежая струя воздуха и взбудрила всех, все стали деятельны, все ринулись оповестить своих знакомых, а эти знакомые оповещали своих знакомых, а те своих, известие захватило весь город и никого не оставило равнодушным. Правда, говорили разное: одни непреложно утверждали, что в номере застрелился гвардейский офицер, проигравший в карты казённые деньги, другие были уверены, что случилось нападение чеченцев, с которыми в это время вели изнурительную войну, третьи не сомневались, что был убит и ограблен богатый купец-прасол, занимающийся перегоном и продажей скота. Однако ничего из этого не подтвердилось. Гвардейский офицер князь Дадыян преспокойно вышел из номеров, уселся в санки и поехал к предводителю дворянства князю Баратаеву, за дочкой которого он бескомпромиссно ухаживал; в записях полицейской книги приезжающих, которую вели при въезде в город, лиц кавказской национальности обнаружено не было; а прасол тоже оказался ни при чём: он преспокойно вышел из трактира, где выпил десять чашек чаю с солёными крекдельками, и отправился в гости к сызранскому помещику Волобуеву, у которого всегда покупал большие партии скота.

Появление из номеров Караваевой и Орловского вызвало живейший интерес публики, обыватели мигом окружили сани полицмейстера и со всех сторон посыпались вопросы.

— Анна Петровна, голубушка, за что вас взяли?

— Игнатий Мартынович, кого застрелили?

— А правда, что вчера в номера инкогнито въехал флигель-адъютант, расследующий злоупотребления рекрутского присутствия?

Башкирский мерин, оседаая на круп, всхрапывая, таращился лиловыми глазами на беспокойно гомонивших людей, но полицмейстер крепко удерживал его вожжами и нетерпеливо покрикивал:

— Дорогу, господа! Дорогу!

Наконец саням освободили путь, и седоки мигом домчались до губернаторского дворца. Иван Васильевич, отстранив полицмейстера, завёл Анну Петровну в свой кабинет, где дотошно всё у неё выспросил и запретил ей кому-нибудь ещё говорить о происшествии.

— Особенно Орловскому не говорите, он мигом побежит с этим к жандарму, который только за тем и послан, чтобы сделать дурно губернатору. Или лучше вот что сделаем. Я вас проведу в покои, и вы побудете там с губернаторшей. Она о вас уже как-то спрашивала.

— Ей я могу рассказать о происшествии?

— Ни под каким видом! — запретил Иван Васильевич. — У вас всегда есть короб новостей со стороны, которая противодействует его превосходительству. Вот и вывалите их Марье Андреевне, чтобы она их перебрала.

Иван Васильевич проводил Караваеву в покои губернаторши, а сам отправился с докладом к Загрязскому.

— Ай, ай! — сказал Александр Михайлович и строго посмотрел на правителя канцелярии. — А этот Сеченов оказался большой шельмой! Доставить его немедленно ко мне! А с девицы Кравковой следует взять её собственноручное объяснение.

Иван Васильевич отправился в номера, где провёл доверительную беседу с Варварой Ивановной, умело обо всём её выспросил, можно сказать, процедил через сито, вычислил остаток, затем постучал в дверь Сеченова в сопровождении подчинённого подполковника Стогова. Павел Дмитриевич отпер дверь и обомлел: перед ним стоял саженого роста жандарм в блестящей каске, над которой колебалась сутана из чёрного конского волоса.

— Немедленно пожалуйста к губернатору, господин Сеченов! — жёстко произнёс Иван Васильевич.

Сызранский городничий сразу вспотел и ощутил в животе предательские спазмы, которые заставили его опуститься на кровать. Иван Васильевич расценил его поведение как симулянтское, кивнул жандарму, тот крепко ухватил Сеченова под руку и потащил по лестнице вниз.

Хотя была середина дня — святое для симбирских обывателей время сытного обеда и отхода к послеобеденному сну — около номеров по-прежнему былолюдно. Однако

все сразу притихли, когда из ворот показались сначала важно шествующий начальник канцелярии губернатора, затем Сеченов в полузастёгнутой шинели и сбившейся набок фуражке, поддерживаемый мощной рукой жандарма.

— Что, Иван Васильевич, масона поймали? — угодливым тенором осведомились из толпы.

— Нет, это не масон, — уверенно сказал кто-то. — Это карточный промышленник по ярмаркам. Я его, кажись, видел на прошлой годней Сборной, как он обчистил кавалерийского ремонтера, ажно на пятнадцать тыщ.

— А ну пошёл из-под ног! — оттолкнул в сторону от саней крутившегося на обочине молодого приказчика Иван Васильевич. Следом за ним в сани погрузились Сеченов и жандарм. — Гони!

Разъездной губернаторский кучер пустил пару гнедых крупной рысью, а сзади кто-то жалостливо воскликнул:

— Вот так нашего брата и упекают в Сибирь!

Почти каждый в толпе примерил к себе участь Сеченова, озяб от испуга и поспешил домой, чтобы согреться чаем и забыть навсегда то, чему он только что был свидетелем.

Загрязский с любопытством рассматривал стоявшего перед ним навтытяжку нового сызранского городничего.

— Вы что, язык проглотили, любезный? — осведомился губернатор.

— Никак нет! Имею честь представиться вашему превосходительству по случаю назначения на должность сызранского городничего.

— Нечего говорить, хорош градоначальник! Вы и в Сызрани намерены умыкать девиц из почтенных семейств? — Павел Дмитриевич подавленно молчал. — Ума не приложу, что с вами делать, — продолжал губернатор. — Эта стрельба, эта девица... Эхо от вашего скандала уже катится к Петербургу. Вот что, напишите объяснение на моё имя, я свяжусь с министром внутренних дел. А пока я вас, до решения министра, оставляю от должности сызранского городничего. Ступайте! Ступайте! Передайте девице Кравковой, чтобы она представила объяснительную записку мне лично.

Сеченов брёл по улице, и его самочувствие было ужасным. Он негодовал на всё — на Метальникова, заманившего его в Репьёвку, на Варвару Ивановну, пустую и взбалмошную девицу, на ямщика, согласившегося подъехать в полночь к усадьбе Кравковых, на сопьяка корнета, устроившего пальбу в номерах, всё это по воле случая так гладко соединилось, так прочно сцепилось между собой, что увлекло его в пропасть. И сколько ему лететь до самого дна, не ведал никто.

Мимо на больших резных санях, застелённых коврами, проехала весёлая компания. Вдруг сани остановились, из них вылез господин и, пьяно пошатываясь, направился к Павлу Дмитриевичу.

— Сеченов, ты! Не узнаёшь?..

Павел Дмитриевич с негодованием узнал в пьяном вчерашнего забуддыгу поручика Сажина.

— Не имею счастья быть знакомым.

— Да брось ты, Сеченов! Будет притворяться. Помнишь Бердичев? Дамочки там — одна сласть!

— Не имею чести вас знать, милостивый государь!

— Так ты не ты? Интересно...

— Я — сызранский городничий. Посторонитесь!

— Да?.. А где твои усы? Дай припомнить, какая-то мерзкая история была с усами... Да о чём это я? Бандерша Зося... Нет, где твои усы, проказник?

— Вы пьяны, сударь! Извольте посторониться!

— Я пьян... Не позволю! Сызранский городничий! В морду его, в морду!

Прятели оттащили своего собутельника от Павла Дмитриевича. «Что за денёк! — подумал он. — Мало горя с этой Кравковой, так и Сажин откуда-то выскочил. Одно хорошо, что пьян — завтра забудет».

Огорчённый познанием истины, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным, Сеченов надвинул на глаза фуражку, поднял воротник шинели и, избегая смотреть по сторонам, чтобы не встретить чужого взгляда, поспешил в номера Караванной. Он поднялся на свой этаж и натолкнулся на Анну Петровну, которая его явно поджидала.

— Ах, Павел Дмитриевич! — воскликнула она. — Я всё знаю. Не отчаивайтесь, ещё не всё так безнадежно. Кроме губернатора, есть ещё общественное мнение, и его повернуть в вашу сторону вполне по силам!

— Что ещё за общественное мнение? — проворчал Павел Дмитриевич. — Здесь губернатор общественное мнение. Отчитал меня и поделом. Я, конечно, не сожалею о своём шаге. Все согласятся, что я поступил благородно, но от этого мне нет никакой пользы. Я отставлен от службы. На Варвару Ивановну тоже возводят подозрение.

Скоро Петербург будет знать об этом. Шутка сказать — министр граф Блудов!

— Не скажите, Павел Дмитриевич! — загорячилась Караваева. — Вода камень точит. Допустим, сегодня губернатор вас изуродовал, но завтра, послезавтра, через неделю к нему начнут поступать мнения достойных особ нашего города, от которых он не сможет отмахнуться. К примеру, у меня сегодня приватный вечер, будут все свои. Не соблаговолите вы, Павел Дмитриевич, осчастливить нас своим присутствием?

Предложение пришлось кстати, Сеченову представилась перспектива долгого зимнего вечера в пустом номере, неизбежные мысли и душевные переживания о том, что случилось, и он принял приглашение Караваевой в надежде, что если не будет от этого пользы, то вреда тоже не предвидится, а развеяться в его теперешнем состоянии было просто необходимо.

Полицмейстер Орловский самонадеянно ждал, что Иван Васильевич предоставит ему Караваеву для дотошного допроса, но проходили минута за минутой, а в кабинете начальника канцелярии стало совсем тихо, и тогда Игнатий Мартынович нерешительно толкнул дверь и кашлянул, предупреждая о своём присутствии хозяина, но ответа так и не дождался. Кабинет был пуст, и, осерчав, майор громко затопал по ступеням в прихожую, где обратился к дежурному жандарму:

— Караваева дворец покинула?

— Никак нет, — небрежно ответил жандарм. — Как зашли, так и не выходили.

Орловскому стало ясно, что Иван Васильевич провёл его, как обыкновенного будочника, ни в грош не поставив его заслуги на полицмейстерском поприще, и тут же решил сделать ответный ход. Выйдя на улицу, он принял из рук служителя вожжи и, бодро запрыгнув в сани, покатил по Дворцовой к резиденции подполковника Стогова.

Эразм Иванович посиживал в своём кабинете, с утра он сочинил письмо с отчётом о состоянии дворянских умов, исходя из того, что ему удалось выведать на бале. Закончив писать, он на листе бумаги стал рисовать схему родственных связей самых знатнейших фамилий губернии, используя в качестве источника сведения Сироткина, который, прослужив в уездном суде перед поступлением в жандармы больше пятнадцати лет, знал всё и всех.

Их целеустремленную работу, которую они до обеда едва ли выполнили на четверть, прервало появление полицмейстера, просунувшего хмурую физиономию в кабинет. Эразм Иванович обладал счастливой способностью не подавать вида, что кем-то недоволен, но появление Орловского могло обернуться получением важной новости, поэтому он срочно отправил своего помощника к его обязанностям, а сам, добродушно улыбаясь, приветствовал майора.

— Что невесел, Игнат Мартынович? Опять покрали что-нибудь симбирские воришки?

— Случилось, но не из тех дел, которые имеют прямое касательство к полиции, — мрачно сказал Орловский. — В номерах Караваевой приезжий корнет стрелял в сызранского городничего, но, по счастью, не попал. Налицо покушение на должностное лицо. Решайте, господин штаб-офицер, кому расследовать этот случай. Явного потерпевшего нет, поэтому полиция здесь не нужна. А круг прав жандармов мне неизвестен.

Новость пришлась Стогову по вкусу: своим живым умом он сразу понял, что это выеденного яйца не стоит, но даёт ему возможность либеральным расследованием и примирением противников завоевать доверие благородного сообщества дворян губернии, которое ему крепко пригодится в осуществлении своих далеко идущих планов продвижения по службе.

## Глава 13

Анна Петровна жила во флигеле, занимала его весь целиком, то есть четыре комнаты, одна из которых была большой с высокими стенами и считалась парадным залом, где и происходили собрания заединщиков Караваевой, её клеветов и пособников. Собственно, это был штаб, в котором верховодила хозяйка номеров, и решения, принимаемые здесь, имели немалое влияние на губернскую политику. Своё влияние Анна Петровна осуществляла через приближенных к ней особ, которые состояли в родстве с самыми видными чиновниками губернии и имели на них несомненное влияние. Кроме того, все они имели обширные боковые связи через своячениц, деверей, золовок, крёстных отцов и матерей — это была мощная корневая система, опутавшая всю симбирскую почву. Конечно, питали эти корни отнюдь не сладкие плоды, порой на них вырастали ядовитые колючки, и горе, и плач были тому, кого они задевали и царапали.

В салоне Караваевой каждый имел своё место. В кресле помещался востроглазый,

похожий на общипанного воробья, бывший член судебной палаты Василий Дермидонтович Клочков — юридический мозг штаба, тонкий знаток всяческих судебных заковырок. На диване расположились три дамы степенного возраста — Агафья Сергеевна, Ксения Порфирьевна и Васса Егоровна. Первая была сестрой губернского прокурора, вторая — вдовой полицмейстера и свояченицей товарища управляющего удельной палаты Белокопытова, третья дама олицетворяла собой купеческий капитал — очень богатая вдова купца первой гильдии Кувшинникова. На отдельном кресле сидела Мария Фёдоровна, сестра игуменьи женского Спасского монастыря. Сама Анна Петровна исполняла роль дирижёра вечера. Она генерировала идеи и направляла разговоры в нужное русло.

Кто бы сказал, что здесь собрались самые выдающиеся сплетницы Симбирска, тот бы нанёс им смертельное оскорбление. Они, по их убеждению, собирались из побуждений самого высшего порядка. Кто, скажите, сейчас обсуждает вопросы нравственности, справедливости, сострадания? Да никто. Всё идёт своим чередом, жизнь течёт, как отравленная река, и никому нет до этого дела. Сейчас и двух человек не сыщешь, кто обсуждал бы животрепещущие болевые темы, а тогда неравнодушных людей было предостаточно.

По правде говоря, кружок Анны Петровны последний год влачил жалкое существование из-за отсутствия живого конкретного дела. Давно были перемыты косточки всем городским обывателям, давно изучена подноготная каждого заметного лица, на заседаниях штаба царили заметное уныние и застой мысли. И вдруг, как удар грома, выстрел в номерах среди бела дня, внезапно открывшиеся обстоятельства появления в Симбирске Кравковой и Сеченова, вынесение решения их вопросов на губернаторский и даже столичный уровень — всё это сразу дало могучий импульс сообществу самых любознательных людей города, возвратило их к деятельной жизни.

Заседание штаба по планированию операции, имеющей целью спасение доброго имени Варвары Ивановны и Павла Дмитриевича, началось с доклада Анны Петровны. Из первых слов стало ясно, что своим стратегическим мышлением она не уступает Кутузову. Во вступительной части она яркими сочными мазками испытанного оратора обрисовала историю вопроса. Трогательно, в духе прозы раннего Карамзина, докладчица развернула перед сообщниками картину тягостного детства Варвары Ивановны, которая не имела тепла от родителей, росла в прозябании, как падчерица, терпела брань обнаглевших слуг и постоянные пакости от родного брата Мити. Сказав про это, Анна Петровна вспомнила о выстреле в номерах и тут же сделала в своё повествование вставку вранья: дескать, Митя всегда был большим озорником и любил палить из ружья над головой сестры, отчего та сделалась глуховата. Преследования были столь ужасны, что с ранних лет Варвара Ивановна обратилась к богу, моля о его заступничестве. И заступник явился в лице князя Романа Асатиани, пылкого романтически настроенного юноши, и сердца соединились. Но явились и грозные препятствия: мать и брат были против и смертельно возненавидели князя, а рохля отец не пришёл на помощь дочери, поскольку удалился от всех в вольтерьянство и масонство. Князю было отказано, он, вопия и стеноя, бежал куда глаза глядят, и Варвара Ивановна решила посвятить себя богу. Узнав об этом, жестоковыйные мать и брат учредили над ней строгий надзор, но провидение не оставило бедняжку и послало на помощь страдальце Павла Дмитриевича, который помог ей бежать из постылого дома, отрясти прах его со своих ног, достичь града Симбирска и постучаться в двери духовной обители.

Основная часть доклада была посвящена сегодняшнему состоянию дела Кравковой и Сеченова. Перед беглецами, когда они уже думали, что им ничего не грозит, явился младший Кравков, учинил скандал, чуть не застрелил Сеченова, а потом по злостному совету злопыхателей подал прошение в уездный суд на спасителя Варвары Ивановны, благородного Павла Дмитриевича. Но это был лишь первый удар грома, второй последовал в губернаторском доме, где Загряжский всячески «изуродовал» Сеченова и отставил его, до решения министра, от должности сызранского городничего.

Заключительная часть доклада состояла в основном из перлов самой высокопарной патетики. Справедливость — вот к чему призывало и что жаждало сердце Анны Петровны. Справедливость, если не суда, то общественного мнения, которое само по себе и есть высший суд — вот к чему взывала покрывшаяся потом и красными пятнами Анна Петровна. И внимательно и даже с неподдельным сердечным волнением выслушав Караваева, все с ней горячо согласились. Юридический старичок Клочков заявил, что в действиях Сеченова нет состава преступления, и перечислил с десяток статей права, начиная с кодекса Юстиниана; Агафья Сергеевна, как сестра жены губернского прокурора, подтвердила достоверность юридических изысканий старичка Клочкова; Вассу Егоровну, женщину полную и рослую, до слёз тронула романтическая связь, живо напомнившая ей неразделённую любовь к коллежскому регистратору Зябликову, которого её братья, завернув в рождоу, сплавляли вниз по

Волге на барже, где тот и сгинул навсегда; строго державшаяся Мария Фёдоровна, сестра игумены, промолвила, что всё в руках божьих, а он не попустит свершиться несправедливости; Ксения Порфирьевна, дама чрезвычайно рассудительная, обратила внимание присутствующих на то, что Анна Петровна оказалась на высоте положения, радикально вмешалась в ситуацию, всё разузнала и разложила по полочкам. Караваева от похвалы зарделась ещё пуще и приказала подавать чай.

Заметим, что никем не было сказано ни одного слова, что нужно что-то предпринять, куда-то обратиться с просьбой, походатайствовать, нет, механизм дальнейших действий включался сам по себе. Собравшиеся дамы и старичок доклад восприняли как руководство к действию, им уже не терпелось поскорее покинуть Анну Петровну и поспешить в знакомые дома, чтобы оповестить всех о деталях потрясшего дремотный Симбирск скандала и мнениях о случившемся непонятно каких авторитетных особ, разумеется, в защиту Кравковой и Сеченова как несомненно пострадавших. Их удерживал не обещанный чай, не варенье из крыжовника, которым был славен стол Анны Петровны: с минуты на минуту должен был явиться главный фигурант скандального происшествия.

Чтобы не вмешивать Сеченова в свою внутреннюю политику, Анна Петровна пригласила его на час позже, чем всех остальных, чтобы провести в его пользу разъяснительную работу. Павел Дмитриевич явился одновременно с чаем, поданным одноглазой кухаркой, и произвёл на гостей самый положительный эффект своим внешним видом человека из столицы. На нём был уже известный фрак, малиновый жилет и ослепительно белая рубашка, а также строгие темно-синие штаны со штрипками, напущенные на мягкие полусапожки. Он с ловкостью и допустимой развязанностью вошёл в незнакомое собрание, юридическому старичку ввернул своё, апробированное на других, мнение о реформе Сперанского и варварских экзаменах на классный чин; Агафье Сергеевне, которая болезненно чихнула, посоветовал приложить тёртую редьку к затылку; Ксении Порфирьевне по роговице глаз предсказал будущее счастье; с Вассой Егоровной они посетовали на то, что рубль теряет золотое содержание и на него сейчас трудно купить треть того, что до войны с Бонапартом; Марии Фёдоровне рассказал о своём посещении Саровской пустыни; словом, на всех произвёл самое положительное впечатление.

Чай был выпит, ревизия Сеченову была произведена благоприятным для него образом, и Анна Петровна вынесла загадочное резюме:

— Павла Дмитриевича нужно представить Андрею Ильичу.

— А кто это, Андрей Ильич? — спросил Сеченов, предполагая в нём личность высокого полёта.

— Так вы ничего не знаете об Андрее Ильиче! — поразилась Мария Фёдоровна.

И все враз зашумели, затараторили, пытаются объяснить, кто такой Андрей Ильич, но стоит ли слушать бабью болтовню, когда речь идёт, пожалуй, о самом загадочном обитателе Симбирска за три с половиной века его стояния на Волге, поэтому лучше обратиться к фактам.

На протяжении многих лет, до конца 1841 года, на улицах Симбирска можно было наблюдать странного своим обликом и поведением человека. Он в любое время года ходил в одной длинной рубахе и босиком, ничего не говорил, кроме имени своей матери — «мама Анна», питался подаянием, но не просил его, как нищие, его люди одаривали сами, жил в хижине. Передвигался этот человек только быстрым шагом или бегом из одного конца города в другой, часто останавливался и часами стоял на одном месте, покачиваясь из стороны в сторону подобно маятнику и твердя ему одному понятное: «Бум, бум, бум», при этом подолгу смотрел на какой-нибудь предмет, будь то дерево, забор или дом. Звали этого человека не от мира сего Андреем Ильичом Огородниковым. Со временем он стал главной достопримечательностью Симбирска, верующие люди, а тогда таковых было большинство (поческольку нигилисты в России ещё не завелись), почитали его как юродивого бога ради. Юродство в России всегда имело высокий религиозный смысл, на юродивого и народ, и высшие сословия, и царь смотрели как на оракула, глаголющего откровение, их нравственный авторитет был столь велик, что пред ним склонялся даже Иван Грозный, подтверждение чему можно найти у Карамзина. После Петра I юродство стало выветриваться из религиозной жизни православных. В Симбирске же ещё долго сохранялись старые религиозные традиции, и людская молва определила Андрея Огородникова, после свершения им точных предсказаний относительно конкретных лиц, как юродивого или блаженного. Но значение юродивого не ограничивалось прорицаниями, сам вид его: бесприютный образ жизни, тяготы и страдания, которые он переносил на глазах всего мира, незлобивость и кротость перед лицом обидчиков, готовность отдать голодному всё, что у него есть, всё это понималось людьми как воплощённый в реальности религиозный идеал, следовать которому они, грешники, не могут в силу жизненных условий.

Поэтому общество смотрело на юродивого как на своего заступника перед лицом Бога.

Со временем Андрей Блаженный — как его стали называть симбиряне — стал известен и в России, особенно после Отечественной войны 1812 года, которая воспламенила религиозную настроенность и чувства всех сословий русского народа. О нём знал затворник Серафим Саровский, который говорил приходившим к нему за благословением симбирянам: «Зачем это ко мне, убогому, вы трудитесь приходить, — у вас есть лучше меня, Андрей ваш, Ильич...» Это признание святого старца возвышало Андрея Ильича во мнении народа как праведника, покровительствующего Симбирску. «Пока Андрюшка блаженный жив, не будет у нас пожаров», — говорили жители города. И действительно, Казань выгорела почти дотла, а в Симбирске, пока был жив праведник, пожаров совсем не было. Андрей Блаженный стал эмблемой Симбирска, и многие после его смерти считали, что изображение праведника следует поместить в герб города, вместо столба. Но этого, к сожалению, до сих пор не случилось. И сейчас присмотришься к гербу, и чудится, что вместо короны возлежит на столбе в засаленном халате Илья Ильич Обломов.

Между тем заседание штаба продолжалось.

— Андрей Ильич удивительно проницателен, — с благоговейным восторгом сообщала Агафья Сергеевна. — Госпожа фон Руммель мне рассказывала, что прибегает однажды в их дом Андрей Ильич, никогда до этого здесь не бывавший, и начинает из всех углов выметать сор. Все семейные тут же сказали, что из этого дома им придётся выехать. И что же? Совершенно неожиданно, месяца через два после этого, дедушка подарил матери прекрасный каменный дом на Большой улице, куда и переехали...

— Наши купцы за особенное счастье считают, — веско произнесла Васса Егоровна, — когда, пробегая мимо лавок, наш праведник возьмёт что-нибудь в подарок. Как правило, это вознаграждается успешной торговлей и прибылью.

— А вот недавний случай, — оживлённо заговорила Ксения Порфирьевна, — он до сих пор у всех на слуху. Забежал Андрей Ильич к одной мещанке в дом на кухню, схватил кипящий горшок со щами, бросил его на пол и скрылся. Хозяйка, убирая черепки, нашла огромного паука, который мог бы отравить через щи всё семейство.

— Наш праведник осенён божием благоволением, — торжественно вымолвила сестра игуменьи. — Судите сами, он берёт голыми руками из печи чугунные горшки, не раз обливался кипятком и без последствий. Нередко целые ночи стоит в снеговых сугробах босым. Необходимо, чтобы наш Андрей Ильич подал Павлу Дмитриевичу какой-нибудь ясно понятный знак. Но стоит ли идти к нему, вот я что сейчас подумала? Будет много лучше, если Андрей Ильич сам обратит внимание на господина Сеченова. Наш город мал, их пути неизбежно пересекутся.

— А что, если ваш праведник не обратит на меня внимание? — засомневался Павел Дмитриевич. — Как тогда это понимать?

— А понимаете просто, — ответил за всех юридический старичок Клочков. — Если он пройдёт мимо вас равнодушно, значит, вы не нуждаетесь ни в его осуждении, ни в заступничестве. Словом, живите себе дальше.

## Глава 14

Подполковник Стогов имел приобретённую ещё во времена корабельной службы похвальную привычку планировать каждый новый день с вечера. И сегодня после завтрака он уже намеревался вызвать дежурного унтер-офицера, чтобы послать его за нарушителем спокойствия губернского города якобы сызранским городничим Сеченовым, но принесли почту, и перед штаб-офицером очутилась целая куча писем.

— Семьдесят три штуки, — объявил радостным голосом почтальон. — Распишитесь, ваше высокоблагородие.

Тряхнув рыжим чубом из-под чёрного с орлом кивера, почтовый молодец резво удалился, а Эразм Иванович несколько минут с недоумением разглядывал груду грязно-серых конвертов, наконец, взял один и повернул к свету. Красивым писарским почерком на нём было начертано:

«Его высокопревосходительному сиятельству главному жандармскому офицеру губернии господину Стогову...»

«Что за чушь!» — подивился Эразм Иванович и просмотрел с десяток писем: все они были адресованы ему.

— Сироткин! — воззвал он к себе старшего канцеляриста. — Изволь, братец, объяснить, что сие значит?

— Это, господин подполковник, означает, что в казённой палате опять уволили писарей, — спокойно доложил главный знаток симбирской действительности. — Вот они и сели на торге и пишут крестьянам прошения.

Стогов вскрыл конверт, вынул из него листок бумаги, пробежал глазами несколько

строк и воззрился на своего помощника.

— Это ведь совершенная чушь!

— Так точно, господин подполковник, — подтвердил Сироткин. — Что им крестьяне по своей простоте и темноте наговорят, то писаря и запишут, лишь бы деньги взять за само письмо и отправку.

— Почему пишут мне, а не в суд, не губернатору? Кто им рассказал, что в губернии есть штаб-офицер?

— Мужики живут слухами. С чего-то взяли, что вы теперь и есть тот человек, какой послан царём защитить крестьян от барской неправды.

— Этого ещё только не хватало! — вспыхнул Стогов. — Тебе эти писаря ведомы?

— Как не ведомы? Они, как запьют, так из суда переходят жить на торг.

— Так вели срочно унтер-офицеру команды тотчас доставить их ко мне, — велел Стогов. — Я пропишу этим писателям ижицу!

Эразм Иванович был уравновешенным человеком и редко вскипал негодованием, однако сегодняшней случай явно его задел, и он, встав из-за стола, прошёлся взад-вперёд по кабинету, чтобы обрести спокойствие. «Надо будет сообщить об этом случае Дубельту. Хотя наш народ тёмный и туп, но в нём, как во всякой стихии, будь то вода, никогда нет полной тишины. Что-то в народе всегда движется, толкается, вскипает, пузырится, и нам, жандармам, надо отслеживать любое народное шевеление. Придумали, что я губернский пуп земли, но ведь народ и плюгавого Емельку Пугачёва назначил царём. Наш народ — баран, от него можно всегда дожидаться какой-нибудь дури: думаешь, что он смирен, а он как раз и начнёт лягаться. И эти письма — не искорки ли от пугачёвского кострища?»

Стогов стал распечатывать и просматривать письма, набросал вокруг стола ворох мятой бумаги, но не нашёл ничего противного власти — всё нытьё и скулёж на худую жизнь. А так ли русскому мужику худо? Во многих деревнях бар не видят годами, живут своим миром. О голоде и слыхом не слыхивали, одеваются в холсты да овчину. Попробовали бы, как рабы в Америке нагишом пожить, хотя, правда, там жара, но пекло русскому человеку только в бане годится. В Америке в ходу плети, кандалы, цепи, а у нас крестьянин в синем кафтане и красном кушаке, да красной рубахе, всегда в праздник в сапогах ходит, приплясывая, иной раз смотрится справнее городского мещанина.

Дверь скрипнула, штаб-офицер вскинул голову и увидел широкого в груди мужика, чьи глаза посверкивали из-под косматых бровей раскалёнными углями. Стогов был смел, а тут невольно потянулся к ящику стола, где всегда держал заряженный пистолет, но на пути задержал подрагивающую руку. Мужик бухнулся на колени и возопил:

— Ваше высокоблагородие, защитите и спасите!

Эразм Иванович понял, что это никакой не злодей, а проситель, и окреп духом.

— Кто смог тебя, такого медведя, обидеть?

— Моему сыну лоб забрали обманом.

Стогов настоужился: опять беззаконие в рекрутском присутствии, и с этим надо было покончить без промедления.

— Где твой сын сейчас?

— Там, где лбы рекрутам забривают.

Эразм Иванович крикнул унтер-офицеру, чтобы тот немедленно подготовился к выезду, а сам начал одеваться по всей форме.

— Рассказывай, как на духу, коротко и ясно. Да встань ты с колен, хватит елозить по полу.

— Мой барин Кротков продал моего среднего сына Васятку здешнему барину Рушкову полгода назад. Продал и продал — барской воле не перечь. Но последнюю неделю меня баба начала поедом есть: чую, говорит сердцем, что с Васяткой неладно, поезжай в город, проведай. Я поупирался; да пришлось ехать, и как раз ко времени. Перехватил сына, спрашиваю, как живёшь? Говорит: худо мне, тятка, новый барин дал мне вольную втайне от меня, а сам меня продал в рекруты за племянника Синебрюхова.

— Остановись! — сказал Стогов, направляясь к выходу. — По пути в присутствие доскажешь. Но знай, борода, что если хоть в слове налгал, заporю до смерти!

— Как можно, — попытался упасть на колени мужик, но Стогов его удержал и подтолкнул к двери.

Подъезжая к рекрутскому присутствию, Эразм Иванович уже полностью постиг комбинацию, которую ежегодно разыгрывал господин Рушко. Он при случае дешёво покупал человека и, как следует, составлял купчую крепость. При первом же рекрутском наборе запродавал этого человека какому-нибудь состоятельному мещанину, желавшему нанять за себя рекрута. Перед этим Рушко писал своему рабу вольную (отпускное свидетельство), но обречённый на рекрутство человек об этом не знал и навсегда исчезал в пучине солдатчины.

Появление штаб-офицера в рекрутском присутствии её членов крепко смутило

и озадачило. Президент присутствия попытался хорохориться, но Эразм Иванович внятно, и не моргнув, сказал, что располагает секретной инструкцией, позволяющей ему вмешиваться во все сомнительные дела губернских чиновников. Затем он понудил президента вызвать для допроса рекрута Васятку. Тот скоро явился с обритой наполювину спереди головой, увидел отца, разрыдался и бросился ему на шею. Стогов кивнул своему унтер-офицеру, и тот оттащил рекрута от родителя.

— По закону всякого наёмщика следует спрашивать, добровольно ли он нанялся в рекруты. Вот и ты скажи, как на духу, Васятка: по своей ли воле идёшь в рекруты за племянника купца Синебрюхова?

— На то была барская воля, — помявшись, сказал Васятка. — Он велел...

— У членов присутствия вопросы к рекруту будут? — сказал Стогов. — А где господин Рушко?

— Только тут был, но ушёл.

— Я желаю остаться с членами рекрутского присутствия наедине, — объявил Стогов. Бывшие в помещении канцеляристы, рекруты и мужики вышли в коридор. — У меня нет полномочий изменить явно несправедливое решение рекрутского присутствия, но я обязан доложить о сём деле в Петербург. Моя почта уходит завтра утром. Надеюсь, господа, что вам хватит времени, чтобы вернуться к повторному рассмотрению дела о фальшивом рекруте.

Когда за штаб-офицером закрылась дверь, члены присутствия переглянулись, и кто-то вымолвил:

— Какое счастье, что нам достался спокойный штаб-офицер. Полковник Маслов грыз бы нас до ночи.

— Господа, та собака, которая не лает, всегда больно кусается, — сказал член присутствия почтмейстер Лазаревич. — Давайте поскорее удовлетворим пожелание жандарма и вернём без последствия рекрута его хозяину.

— Но Синебрюхов ему деньги заплатил.

— Пусть они с этим сами разбираются. А рекрутское присутствие здесь ни при чём, ведь так?

После совершения доброго дела Эразм Иванович пришёл в благодушное настроение, но продлилось оно только до возвращения в свой кабинет. В нём находились Аржевитинов и Тургенев.

— Ради бога, простите господа! — изобразил на своём лице нечаянную радость Стогов. — Я был на срочном выезде в рекрутском присутствии. — Не желаете табаку? Я сам не курю, но для гостей держу самый настоящий вирджинский.

Однако гости были явно недовольны: Аржевитинов, поскрипывая деревяшкой ноги, кисло поглядывал мимо хозяина, а на аскетического покроя лице Тургенева застыла брюзгливая гримаса. Стогов в нужное время умел прикидываться сиротинкой, но сегодня его пассы не сняли напряжения, и тогда Эразм Иванович подошёл к своему столу и, опершись руками на спинку стула, сухо сказал:

— Я вас слушаю, господа.

— Мы думали, что вы человек с характером, и пошли на примирение с ветрогонном, — неожиданно звонко провозгласил Тургенев. — А вы нас травили в историю.

— Что вы имеете в виду?

— Как что? — забасил Аржевитинов и негодуя топнул своей деревянной ногой. — Мы сейчас от этого, с позволения сказать, начальника губернии. Меня, заслуженного человека, этот мальчишка стал учить порядочности. Да-с! Именно, порядочности. И всё по вашей подначке идти с ним на мировую. Нет! Теперь полнейший афронт нашему ветрогону и греховоднику!

— Ради бога! — взмолился Эразм Иванович. — Объясните мне, что между вами случилось?

— Извольте! — Тургенев приблизился к столу, оперся на него руками и оказался лицом к лицу с жандармом. — Ветрогон усадил нас в кабинете и сказал: «Господа, между нами есть неприятности, но вы и я имеем к этому обоюдные причины; полагаю, как благородные люди, мы не обязаны давать об этом кому бы то ни было отчёта, но, к удивлению моему, вы малодушно стаялись с жандармом! Ха-ха-ха, да знаете ли вы, кто этот жандарм? Он по просьбе моей прислан сюда для моих услуг! Вот вы кому доверились. Господа, я не отнимаю у вас права иметь ко мне неудовольствие, но будьте же благородны, действуйте сами, без жалкого жандарма».

Выслушавшая монолог Тургенева, уже достаточно повидавший виды Стогов чувствовал себя кадетом младших классов, пойманным на какой-то отвратительной шалости, за которую полагались розги. Одновременно в нём закипал холодный и расчётливый гнев на губернатора, который, по своему ветрогонству, так его унижил в глазах достойных и уважаемых людей благородного общества.

Сдерживая волнение, Стогов повинился в своей близорукости и признался, что

хотел согласия и единодушия общества с властью и если унизился, то с доброй целью.

— Я жалею, что обеспокоил искренне уважаемых мною людей, и в другой раз не ошибусь, — сказал Эразм Иванович. — И я вполне согласен с вашим выводом, что губернатор — подлец! Я сейчас же иду к нему и так досажу этому прохвосту, что мало не покажется. Но сначала к этому визиту я должен подготовиться.

Оставшись один, Эразм Иванович взял лист китайской бумаги и, потрудившись около часа, соорудил весьма ядовитое для симбирского губернатора донесение шефу жандармов графу Бенкендорфу, где описал отношение благородного общества к Загряжскому, его ветренность, пустозвонство и неуёмное женолюбие.

Тем временем Загряжский и не подозревал, что над его кудрявой и легкомысленной головой начинают сгущаться тучи, и когда камердинер доложил о приходе Стогова, велел привести его в гостиную, где он с женой и её двумя приживалками играл «в дурачка».

— Берите, Эразм Иванович, карты, — пригласил Загряжский жандарма и сразу же прикусил язык: Стогов одарил губернатора таким тяжёлым взглядом, что у того засосало под ложечкой.

— Вы, по своей несдержанности, огласили существующий между нами секрет и плохо отозвались о жандармах, — объявил Стогов и достал из кожаного портфеля письмо. — Это моё донесение его высокопревосходительству графу Бенкендорфу. Конверт открыт, извольте ознакомиться с его содержанием.

Почувствовав, что они здесь лишние, приживалки покинули гостиную. Загряжский вынул из конверта письмо и углубился в чтение.

— Ах, Алекс! — воскликнула жалким голосом Марья Андреевна. — Когда ты оставишь свои шалости?.. Дорогой Эразм Иванович, пожалейте наше семейство, не отправляйте письмо!

— Губернатор должен знать, что у меня нет огорода, куда он может бросать камень. А вот у него таких огородов много. А камни, чтобы бросить, найдутся.

Загряжский, прочитав жандармское донесение, побледнел и дрожливим голосом произнёс:

— Это непорядочно! Вы так писать не имеете права.

— Что ты такое говоришь, Алекс! — испуганно выдохнула Марья Андреевна. — Эразм Иванович, вы же видите, у него жар, нервный припадок. Вы своим письмом его убьёте...

Стогов изобразил на своём лице мучительное раздумье, выдержал паузу и положил письмо обратно в портфель.

— Только ради вас, дорогая Марья Андреевна. Вы так любите своего легкомысленного супруга, что я решаюсь на утайку происшествия. Но в случае повторения подобного, оно будет присовокуплено к другому донесению, которое я без всяких снисхождений отправляю в Петербург.

Загряжский сразу же повеселел, расправил плечи, и во взгляде, который он бросил на штаб-офицера, тот уловил нечто такое, что заставило его пожалеть о скоропалительном прощении симбирского ветрогона. Но дело было сделано, и, отказавшись от приглашения на ужин, Эразм Иванович поспешил вернуться на службу, где его ждали запертые в «холодную» писатели дурацких прошений.

За хлопотами Стогов забыл об обеде, но повар его уже поджидал с готовым борщом и рыбным блюдом столь пикантного аромата, что у проголодавшегося штаб-офицера защекотало нёбо, и он, слглотнув сладкую слюну, спросил:

— Чем ты меня намерен сегодня потчевать?

— Пришёл первый рыбный обоз с уральских ловель. Везли в Москву, но и вам, ваше высокоблагородие, кое-что вкусенькое с вазу упало.

— Что ж, я, признаться, проголодался.

— Тогда извольте начать с малороссийского борща.

Вкусная и сытная трапеза благотворно повлияла на нервное самочувствие Эразма Ивановича. Холостяцкая жизнь научила его ценить маленькие удовольствия и, в первую очередь, беречь своё хорошее самочувствие, потому что оно является основным залогом здоровья. И Стогов был отходчив и рассудителен, на дело «писателей» он после обеда посмотрел совсем другими глазами, чем утром.

— Веди грамотеев, — велел он унтер-офицеру и развернул лежавшее сверху груды конвертов письмо.

В коридоре затопали сапогами, распахнулась дверь, и перед штаб-офицером предстали два молодца почти саженого роста, годные во фланг в любой полк императорской гвардии. Эразм Иванович присмотрелся к их лицам, вроде трезвы, смотрят настороженно, но не напуганы.

— Отвечайте — это ваша работа? — Стогов указал на груды писем.

— Мы, это наша рука, — ответили «писатели» разом.

— Пусть отвечает один, — сказал Стогов. — Вот хотя бы ты, но сначала обзовись.

— Федот Карнаухов.

— Почему вы загружаете штаб-офицера губернии совершеннейшей ерундой?

— Мы пишем со слов просителя, — пустился в объяснения Карнаухов. — А то, что глупости, так это у нас народ такой, что, к примеру, мне кажется ерундой, то для мужика очень важно. Потому и пишем, что говорят.

— Вы какого звания?

— Уволены по несправедливости из казённой палаты.

— И за какие грехи, за чарочку?

«Писатели» переглянулись один раз, другой и пришли, видимо, к обоюдному согласию: сказать правду.

— Среди канцеляристов не бывает ни одного трезвенника...

— А вот врётся! — перебил его Стогов. — Мой Сироткин не пьёт.

— Какой он канцелярист? Он — жандарм.

«Вот шельма! — мысленно усмехнулся Эразм Иванович. — Но ведь прав, Сироткин в первую очередь жандарм».

— Ну-с, братец, продолжай.

— Мы обносили взятым у просителей начальника стола. Вот он на нас и взъелся.

— Сколько берёте за прошение?

— От пятидесяти копеек и выше.

— Господа писатели! Я нахожу ваше искусство вредным и советую заняться другим промыслом, — важно объявил штаб-офицер.

— Но мы на другое не способны, — заныли «писатели», выбирая на полу место почище, чтобы упасть на колени. — Другому нас не учили.

— Тогда мне придется стать вашим учителем. Поступим так. Я сделаю запрос, как с вами поступить, но чтобы ни одного дурацкого прошения на моём столе не было. В противном случае будете сидеть в холодной до тех пор, пока не явится решение из Петербурга. Ну как, вняли тому, что я сказал?

— Как не вняли, но нет такого закона, чтобы нам не писать, — вякнул Федот. — Как нам жить без писания?

— Идите служить, — строго сказал Эразм Иванович. — До ответа из Петербурга разрешаю писать по два прошения в день, но не глупых, а по настоящему делу.

## Глава 15

Поздним утром следующего дня Варвара Ивановна постучалась в номер Сеченова и спросила, не изволит ли Павел Дмитриевич сопровождать её к губернатору.

— Эх, Варвара Ивановна, — сказал Сеченов, открыв дверь, — сегодня все симбирские сороки на заборах только тем и заняты, что про нас стрекочут. Увольте меня от своей прессы. И вообще нам нужно разъединиться. Болтовни много.

— Так вы меня покидаете, Павел Дмитриевич?

— Это необходимый шаг. Но вы, я думаю, не останетесь без присмотра. В вашем деле не обойдётся без влиятельных попечителей.

— Что же, благодарю вас за всё, что вы для меня сделали, Павел Дмитриевич, — промолвила смиренно Кравкова, как и подобает будущей инокине.

Затем она вернулась в свой номер, оделась и вышла на улицу. День был солнечный и яркий, за ночь навалило много снега, который похрустывал под ногами прохожих. Колокольным звоном ударили соборные часы, спугнув с кровли храма крикливых ворон. Варвара Ивановна шла по Московской улице, не оглядываясь по сторонам, погружённая в свои мысли. Предстоящая встреча с губернатором её сильно волновала, поскольку это было для неё необычно. Воспитанная в провинциальной Репьёвке, она совсем не знала жизни и, кроме исправника Фёдора Кузьмича, наезжавшего к Кравковым снимать пробу с настоек, наливок и запеканок, никого из значительных лиц не видела, тем более губернатора, который ей, по внушённому родительницей чувству верноподданности, казался существом высшего порядка, средоточием разящих молний и спасительных милостей. Варвара Ивановна сильно надеялась на последнее, то есть на милость, резонно предполагая, что её решение затвориться в монастыре выше всякого осуждения, и в глубине души любовалась своим поступком.

Свой первый визит к губернатору она нанесла как бы в горячем бреду. Аудиенция была скоротечна, девица толком и осмотреться не успела, как оказалась снова на улице рядом с Павлом Дмитриевичем. В номере она попыталась привести в порядок свои впечатления, но, увы, ничего не вспомнила, кроме нескольких жалких слов, вымолвленных ею, которые ничего не значили и не объясняли. И сейчас, направляясь к Загрязскому, Варвара Ивановна горячо затверживала то, что она намеревалась сказать, чтобы губернатор проникся к ней снисхождением и сочувствием. Но ей

так гадко напортил братец Митя, учинивший вчерашний переполох. Всплыл факт бегства в сообществе с мужчиной, и её богоугодный поступок приобрёл неприятный скандальный оттенок.

Варвара Ивановна свернула с Московской на Дворянскую улицу, стала переходить её, как вдруг увидела перед собой оскаленную конскую морду, и ноги её подкосились. Из щёгольских санок выскочил румянощёкий господин в мерлушковой бекеше и едва успел подхватить ослабевшую от испуга девицу. Это был Сажин.

— Ба! — вскричал он, дохнув на Кравкову тягчайшим перегаром. — На ловца и зверь бежит! Наша симбирская знаменитость! Знаете ли вы, сударыня, что о вас говорят во всех домах города? Вы у нас прямо Жанна д'Арк! Мне показали вас издали, но, клянусь честью, вблизи вы ещё более прекрасны!

Варвара высвободилась из рук Сажина и попыталась уйти, но он её удержал.

— Это, знаете, вполне в духе французских романов! Я в своё время почитывал их, когда служил в Одесском пехотном полку, а мы стояли в Бердичеве. Знаете, премилый, шикарный городок, там такие, знаете... Впрочем, ну их к чёрту! Да!.. А где шельмец Сеченов? Я, кажется, вчера его встретил. Да... Впрочем, он отпирался и твердил, что он не Сеченов, а городничий. Я в затруднении. Хотя усов, да, усов нет! Наши офицеры за картёжное рукоблудие запретили ему усы!

— Оставьте меня, — пролепетала Варвара Ивановна, — я направляюсь к губернатору.

— К губернатору? Великолепно! Это наш брат, офицер! Он вас не выдаст, спасёт от монастырской кельи. И что за дурь вы, право, удумали! Нет, в Бердичеве девицы гораздо просвещённые во всех вопросах. Хорошо — к губернатору! Садитесь в санки, я вас мигом домчу!

— Нет! Нет! — решительно запротестовала Варвара Ивановна. — Мне не к спеху.

— Тогда поедем к Андрею Алексеевичу Сизову, у него три сестры вашего возраста, такие премилые, правда, помешались на стихах князя Шаликова. Плюньте на губернатора, между нами говоря, он порядочный ветрогон. Забудьте келью! У Сизовых вас встретят прекрасно!.. Опять нет? Тогда прощайте и скажите мерзавцу Сеченову, или как там его, что я его ещё встречу и не спущу.

Уличное происшествие смутило Варвару Ивановну, но вскоре она успокоилась. Перед парадным крыльцом губернаторского дома перекрестилась и вошла в швейцарскую, где ей помогли снять верхнюю одежду, кликнули камердинера, и тот по широкой лестнице провёл её на второй этаж, а затем в кабинет Загряжского.

Надо сказать, что Александр Михайлович с нетерпением ожидал появления Кравковой. Её история его заинтересовала, затронула романтические струны души, которые начинали звучать, когда он видел хорошенькое личико, чувствовал, что перед ним порывистое неопределённое создание. Это были охотничьи уголья, в которых он любил порезвиться. Его увлекала игра, расстановка западней и ловушек, он любил, как охотник, высовистывать свою жертву, наблюдать, как она постепенно шаг за шагом приближается к нему в смятении и покорности...

Но Загряжский решил сначала покончить с кляузной стороной вопроса.

— Вы знаете, что ваш брат написал прошение в уездный суд? — спросил Загряжский.

— Я слышала об этом, — пролепетала она.

— От кого слышали?.. Впрочем, не отвечайте, я и так догадываюсь — от Сеченова. Кстати, где вы познакомились с этим господином? Что вас связывает? Соболагодите объясниться, чтобы пресечь всякие слухи. Голубушка, вы не знаете, что такое Симбирск, а я, поверьте, знаю. Наши благородные дворяне ужасные сплетники, и упаси вас бог попасть в эти жернова. Да, что это у вас? Объяснение. Так давайте его.

Кравкова протянула губернатору лист бумаги. Он взял его и, подойдя к окну, стал читать:

*«От желающей вступить в Спасский монастырь из дворян девицы Варвары Ивановны гочери Кравковой.*

*На требование Вашего Превосходительства имею честь объяснить, что моё непреодолимое желание было вступить в монастырь с того самого дня, как я узнала решительный отказ, сделанный моими родителями сватавшемуся за меня князь Роману Петровичу Асатиани, к которому я питала чувства самой страстной любви. Сия причина и жестокость побудили меня положить на себя клятву переменить образ жизни и посвятить себя Богу...»*

Загряжский внимательно посмотрел на Кравкову, не находя в ней той своенравности и решительности, которые прочитывались в объяснении.

— А что, этот князь беден?

— У него всего пятьдесят душ.

— Да, негусто. Но вернёмся к Сеченову. Я не могу понять, чем он возбудил ваше

доверие? Познакомились на именинах, перекинулись парой слов, и вы его просите помочь? Неосмотрительно.

— Я сразу поняла, что Павел Дмитриевич — благородный человек, чуткое сердце. Он много пострадал. Не вините его.

— Благородный человек. А на меня он произвёл впечатление неблагоприятное. Я, конечно, знаю о его высоком покровителе, но очень уж он смахивает на прожжённого мошенника, этакое вкрадчивого плута.

— Я могу сказать о Павле Дмитриевиче только хорошее.

— Ладно, оставим Сеченова, тем более что ему больше нет никакого резона мешаться в вашу жизнь. Я удовлетворён вашим объяснением, но исполнение вашего желания поступить в монастырь не в моём праве. Не знаю, оцените вы это или нет, но сегодня я был у высокопреосвященного Анатолия и говорил о вашем деле. Знаете, церковь не любит торопиться, особенно в таком случае, как с вами. Вам, конечно, мало что известно, но выходка вашего брата привлекла внимание общества, сейчас об этом судят и рядят во всех домах города.

— Что же мне делать? — пролепетала девица.

— А не желаете ли вы, Варвара Ивановна, — шутливо сказал Загряжский, — чтобы я учредил над вами свою опеку?.. Вам нужна защита от злопыхателей, нужно время, чтобы успокоиться от треволнений, наконец, просто иметь возможность для отдыха. И, знаете, это не моё предложение, а моей жены Марьи Андреевны, поэтому ответ вы дадите ей.

По существу, сказанное Загряжским было первым шагом в осуществлении очередного амурного плана, который зародился вчера, когда жена неосторожно заговорила о Кравковой и Сеченове, подначенная прибывшей в её дом прямо от Караваевой своей приятельницей Агафьей Сергеевной. Сестра губернского прокурора отчаянно выступила в защиту справедливости, в первую очередь досталось тем, кто, по её мнению, распространяет про беглецов грязные слухи (это были явные враги губернатора), потом в самом выгодном свете представила положение Кравковой, и на глазах у Марьи Андреевны выступили слёзы. Загряжский любил слушать сплетни и просидел у жены до того момента, пока Агафья Сергеевна не распрощалась с хозяевами.

— Ах, Алекс! — вздохнула жена. — Агафья Сергеевна — прекрасный собеседник, но почему она пользуется такими ужасными духами. У меня голова болит.

— У меня, признаться, тоже, но от её болтовни.

— Но ведь ты говорил, что в некоторых случаях она незаменима.

— Я и сейчас не отрицаю, что её болтовня нравится симбирянам. Она моя сторонница, Мари. Вхожа во все дома.

— Алекс, я хочу, чтобы ты помог этой бедняжке Кравковой. Её история меня расчувствовала.

— Не могу, даже если бы захотел. Это дело духовных лиц. Но уступаю: завтра съезжу к высокопреосвященному Анатолию. Но вряд ли он будет торопиться. Церковь осторожна с теми, вокруг кого нелестный шум.

— И всё равно Кравкову жаль. Но можно помочь ей другим образом. Она остановилась в этих ужасных номерах. Ты помнишь, как мы ночевали в Казани по дороге в Симбирск. Ужасные тараканы с усами. Брр!.. А что, если до поступления в монастырь Кракова поживёт у нас? Гостевые комнаты свободны. Она развлечёт меня и Лизу.

Предложение жены сразу понравилось Александру Михайловичу, но он вида не подал и строго заметил:

— Я согласен. Но не стоит эту беглянку близко знакомить с Лизой. Знаешь, дурной пример заразителен. А я, как губернатор и отец семейства, не могу одобрить поведение Кравковой.

— Ах, оставь это! Лучше будь повнимательнее к Кравковой при встрече. И передай моё приглашение.

— Хорошо, моя милая.

Загряжский нежно поцеловал руку жены и чрезвычайно довольный вышел из комнаты. Александр Михайлович был опытным искусителем женских сердец, но Симбирск не Петербург, и его умение сердцеда в провинции, где девы патриархально строгие и следуют воле родителей, почти не на ком было испробовать. Поэтому Кравкова в этом смысле его сильно заинтересовала ещё во время встречи, когда она вывалилась из ямщицкой кибитки на губернаторский раут. Загряжский определил беглянку как девицу взбалмошную, с переменчивым настроением, такие легко меняют пристрастия: сегодня они мечтают о замужестве, завтра — об иноческой келье. Конечно, с ними опасно связываться, но Загряжский надеялся, что опыт в интимных делах поможет ему действовать в верном направлении.

## Глава 16

Многолюдный только на двух-трёх улицах Симбирск вечером будто вымирал: редко где проскрипит подошвами прохожий, проедут, направляясь в гости, поселившиеся на зиму в губернском городе дворяне, пробежит, подхватывая от стужи, то одну ногу, то другую бродячая собака, и снова воцаряется тишина морозного вечера, которую нарушают разве что компании подгулявших молодцов, пролетающих на санях, запряжённых разгорячёнными от бега лошадьми, с гамом, свистом, а то и разудалой песней.

Самой громкой компанией удалцов была та, в которой атаманствовал отставной поручик Сажин, состоявший в родстве со многими знатными семействами губернии и сам владелец пятисот крестьянских душ, иногда большой мот, но чаще жмот, предпочитавший приблизить к себе какого-нибудь выпорхнувшего с немалыми деньгами из родительского гнезда молодого дворянчика и со вкусом обучить его пить водку и шампанское, делать из рома жжёнку, образовать по части женщин в известном доме на Нижне-Чебоксарской улице, а когда деньги будут истрачены, снабдить банкрота сторублёвой ассигнацией и отправить к родителям охотиться в девичьей.

Сажин последнее время скучал, от скуки отправился на бал к Бестужеву, от скуки стал шалить в номерах Караваевой, проспался у своего приятеля Сизова, поутру поехал прогуляться по Большой Саратовской и возле номеров Караваевой увидел молодого человека, который высочил из сеней заведения нараспашку с пистолетом в руке. Определив в нём офицера, Сажин поспешил незнакомцу на выручку:

— Падай в сани! — горячо воскликнул он и, поднявшись на ноги, озорно свистнул и погнал лошадь прочь от людной улицы.

Погони за ними не было, и Сажин присмотрелся к своей добыче. Это был, судя по мундиру, корнет Инженерного корпуса, совсем молодашка, но по мутному взгляду Сажин понял, что тот не трезв.

— Позвольте отрекомендоваться — поручик Мишель Сажин. А вы каким образом попали в номера? Приезжий?

— Корнет Кравков, можно просто Митя. Я сам не знаю, зачем упал в ваши сани. Где мой пистолет?

— У вас в ногах, — ухмыльнулся Сажин. — Вы кого-то убили? Кого?.. Ах, да! Что я спрашиваю, это, конечно, был соперник. Тогда вам нужно укрытие. У вас оно есть?

— Конечно, нет, — сказал огорошенный натиском Сажина молодой человек. — Я выстрелил в подлеца, но, кажется, мимо.

— Но вы не уверены, а вдруг попали, — предположил Сажин. — Тогда вам надо на время спрятаться, чтобы узнать достоверные результаты вашей стычки с соперником.

— Он мне не соперник, — поморщился Митя. — Но я его точно убью, а потом убегу на Кавказ.

— Что ж, мысль понятная, — сказал Сажин. — Убить соперника и убежать к чеченам — это им понравится: поступок, достойный настоящего джигита.

Тем временем они уже достигли Свяжского подгорья, где была усадьба приятеля Сажина отставного ротмистра Сизова, который с тремя сёстрами проживал в просторном доме, рядом с которым был флигель и ещё несколько бревенчатых построек хозяйственного предназначения.

— Предлагаю, корнет, руку дружбы, — несколько высокопарно произнёс Сажин, любивший при случае принимать позу романтического героя. — В сем замке проживает ротмистр Сизов, и здесь вы будете в полной безопасности.

— Право, я не знаю, — нерешительно сказал Митя. — У меня нет намерения стеснить незнакомому человека.

— У него просторно. Выходите из саней. Не будем морозить дворника, который уже распахнул перед нами ворота. Ба! Да уже и сам хозяин на крыльце.

Сизов был лёгким в общении человеком и сошёлся с Митей после двух-трёх слов, повёл его в дом, познакомил с сёстрами, которые сразу взяли корнета в кольцо и стали его расспрашивать о петербургских новостях, но тот лишь краснел и глуповато улыбался, пока его не выручил Сажин, прекрасно понимавший, что Кравкову нужно сейчас не милое девичье общество, а чарка ерофеича с солёным огурцом и ржаным ломтем.

Вместе с хозяином они ушли на мужскую половину дома и очутились в комнате, где крепко пахло табаком, на кровати лежала бурка, на стенах висели несколько ружей в простой и дорогой отделке, холодное оружие, на столе стояла початая бутылка, несколько чарок, половина солёного арбуза, огурцы и глиняный жбан с квасом.

Ерофеич всех ещё теснее сблизил, и Митя многословно и очень красочно поведал своим новым друзьям о причине, заставившей его срочно примчаться в Симбирск.

— Сеченову надо набить морду, — мрачно заявил Сизов. — И никаких с ним

дуэлей. В морду и только в морду! А затем дать здоровенный пинок под зад!

— Это счастье от него не уйдёт, — сказал Сажин. — Однако сначала надо выручить девицу. Если попадёт к монашкам, хоть на день, назад они её не отдадут. Что тебе наказывали родители?

— Для отца уже никто из детей не существует, а маман дала мне наказ возвратиться Вареньку домой.

На какое-то время в комнате воцарилась тишина, затем ротмистр скрипнул стулом, подошёл к окну, некоторое время дышал в него горячим перегаром, вытаял во льду кружок стекла, поглядел на небо и сообщил:

— По всему, к вечеру закружит метель. А она, говорят, всегда на руку конокрадам. Не горюй, корнет! Выкрадем сегодня твою Вареньку из номеров, а после пусть ищут ветра в поле.

Сажин отставил рюмку, резко поднялся и заходил по комнате, запросто поглядывая на хозяйина.

— Нет, тебя невозможно, Сизов, обогнать мыслью! Я только-только начал догадываться, как помочь Кравкову, а ты взял и выдал, что я хотел сказать.

— Не горюй, Миша! У тебя лучше получится выдумать, как нам это дело исполнить. Правда, ты по батюшке не Илларионович, а Петрович, но по выдумке, можно сказать, почти Кутузов.

— Сначала надо спросить корнета, как он относится к похищению сестры, — заметил Сажин. — Думаю, что он согласится. На Кавказе, куда он намерен бежать, наскучив барской жизнью, похищения девушек в обычае у всех племён. Толкуют, что у русских с азиатами общая судьба: тогда почему не начать перенимать их привычки. Решай, Кравков, а мы с ротмистром ну прямо горим желанием совершить подвиг.

Корнет вскочил со стула, шумно выдохнул и протянул руку Сажину:

— Я согласен!

К ним приблизился ротмистр и, полюбив своих сообщников за плечи, прошептал:

— Это дело сугубо тайное. До набега на номера Каравасовой никто не должен покидать моей усадьбы.

— За исключением меня, — спохватился Сажин. — Я должен быть у тётушки, у неё сегодня день ангела. Я отлучусь. Но не более, чем на час.

— Ты уже сейчас пьян, — заметил Сизов. — Но ладно, езжай. Я и без тебя обойдусь.

— Я друзей не подвожу, — сказал Сажин. — Но тётушкино наследство тоже не пустяк.

Хотя Сизов и определил Сажина в стратеги будущей операции, но зная, что тот может и не вернуться, решил всё делать сам. Здесь надобно сказать, что Сизов был, если так можно выразиться, из городских помещиков. Его пятьдесят десятин пахотной земли и шесть десятин заливного луга на Свияге находились сразу за городом и возделывались крепостными людьми, коих у него насчитывалось сорок две мужские души, включая сюда всех от мала до велика.

Проводив гостя в отведённую ему комнату, ротмистр кликнул дворника, что-то нашептал ему на ухо и сел пить чай со сливками, коими любил себя баловать близко к полудню, за два часа до настоящего обеда. Сизов был счастливым человеком, поскольку знал своё место в жизни, не мечтал, не заносился в желаниях и уже имел на примете небедную вдову — дворяночку, с которой не прочь был вступить в супружеские отношения, но его беспокоила судьба сестёр. Им обеспечить счастье он был не в силах, можно было только надеяться на случай, но он, как известно, выпадает гораздо чаще богатым, чем бедным.

С Сажиним он подружился, не имея в виду женить его на какой-нибудь из сестёр, поручик был богат, но в мужья не годился, поскольку крепко дружил с Бахусом, к тому же ветрен и непоседлив, имел семь пятниц на неделе и много раз признавался, что не сменяет звание холостяка ни на какие семейные коврижки. Успел бросить свой оценивающий взгляд озабоченный ротмистр и на Кравкова, но и на того надежды было мало: корнет был богат и уже полтыщи лет как русский дворянин, а Сизов хоть и мало уступал ему родословием, но достатком не мог с ним сравниться. «Хотя чем чёрт не шутит, — размышлял он, покуривая пенковую трубку, — надо будет присмотреться к нему посерьёзнее».

Выкурив трубку, Сизов пошёл к сёстрам, посидел рядом с ними, послушал девичье щебетание, в котором нашёл приятное душегрейное безмыслие родных существ, которых он должен сберечь всю оставшуюся жизнь.

«Чёрт бы взял наши сословные различия! — вдруг подумал дворянин в девятом поколении. — От них дворянской бедноте и счастья нет. На старшую заглядывается сын купца Андреева, но и он, и я знаем, что свадьбе не бывать».

Ротмистр не зря вспомнил об Андрееве, у которого среди прочих промышленных заведений имелась самая большая мельница на Свияге. Там Сизов молот своё зерно, а

его мужики делали и сбывали купцу рогожи для хлебных кулей, а одна семья держала четыре большие лодки и сплавляла в них по Свияге до Казани муку тончайшего помола, которая была знаменита между татарами как самая лучшая для выделки лапши и любимой ими сладкой стряпни.

За сплавщиками Сизов и послал дворника, определив им в умысле похищения Кравковой главную роль похитителей. Это были два брата-близнеца, силачи и кулачные бойцы, равным которым в Свияжском подгорье не было. Сизов им благоволил, но и подчинил себе так, что они по слову барина были готовы идти в огонь и воду.

Накинув на плечи бекешу, ротмистр вышел к ним на крыльцо: братья поклонились, сняв шапки, в пояс и, тряхнув пшеничными кудерушками, весело посмотрели на барина, думая, что тот их хочет выставить на спор как кулачных бойцов, однако ошиблись.

— Вы мне нужны оба, когда совсем стемнеет. Явитесь к мосту, в сани заложите игренового мерина. Понятно?!

— Чего ж тут не понять. Явимся.

— Возьмите с собой большой рогожный куль, из тех, что помягче. А теперь ступайте. И никому ни слова.

Измученный погоней за сестрой, Митя Кравков не спал почти двое суток и, добравшись до кровати, ещё не коснулся головой подушки, как окунулся в тяжёлый и мутный сон, так и барахтался в нём до наступления темноты, когда на усадьбе началось обычное для этого времени суток шевеление: истопник принялся топить печи, слуги, спавшие по запечьям и на лавках, наконец-то продрали от послеобеденного сна глаза и принялись чесать бока, охатъ от полученного удовольствия и рассказывать, что кому приснилось.

Митя окончательно расстался со сном, когда возле его комнаты раздались шепотки и тихий девичий смех, затем дверь приоткрылась, и в зыбком свете коридорной свечи обозначился стройный силуэт, увенчанный кудрявой головой. Это видение поразило юного корнета до немоты, ведь он, несмотря на свою природную взбалмошность, был совершенно не образован по части амурничанья, но дарованные природой позывы заставили его потянуться навстречу девице, отчего кровать заскрипела, дверь захлопнулась, и в коридоре послышались удаляющиеся шаги.

Сизов и Сажин были уже на ногах, покуривая трубки и одетые так, будто собрались в поле на охоту: на голове мерлушковые шапки с короткими козырьками, бекеши, перепоясанные в талии широким ремнём, тёплые суконные штаны, заправленные в высокие сапоги.

— Корнету с нами делать нечего, он своей суетой может испортить всё дело, — сказал Сажин.

— Ему и места в санях не будет, — рассудил Сизов. — Когда мы получим девицу, то она будет трепыхаться и, не ровен час, столкнёт кого-нибудь из нас под ноги погони.

— Что, и погоня будет? — поежился Сажин. — Это нам бы ни к чему.

— Она и мне не нужна, — ротмистр подошёл к окошку. — Но мы не на Кавказе, а в городе, пропажа девицы откроется сразу, но я придумал, как погоню сбить с толку. К тому же на дворе уже крепкая позёмка, она и заметёт наши следы.

Кравков заплутал в потёмках дома, и в кабинет хозяина его привела кухонная баба. Корнет выжидательно посмотрел на Сажина.

— Вы уже готовы? Что, пора в путь?

Мишель взглядом переадресовал вопрос хозяину.

— Мы решили, корнет, что справимся в этом деле без тебя, — бодро объявил ротмистр. — Тебе нужно быть в стороне от этого дела. Мой человек сейчас определит тебя на постой к моей тётушке, что живёт на Солдатской улице. Это далеко от номеров Каравевой, и ты будешь от этого дела в стороне.

— Что будет с Варей?

— Мы её привезем сюда и сдадим на попечение моих сестёр, все приличия будут соблюдены, а я сразу отправлюсь в дворянское собрание, прихватив с собой Сажина.

Кравков на мгновение задумался, затем вынул кошелек.

— Сколько на это дело надо денег?

— Мы думаем обойтись ста — ста пятьюдесятью рублями.

— Извольте, господа, — заторопился Кравков. — Вот вам двести рублей. Когда я увижу сестру?

— Думаю, что завтра, — повеселевшим голосом сказал Сажин. — Скорее всего, мы привезём её к вам.

Кучер Сизова был уже готов в дорогу, Кравков оделся и, обменявшись рукопожатиями с хозяином и Сажиним, отправился на новую квартиру. В кармане у него лежала записка ротмистра к родственнице, и на прощание младшая из сестёр, зачем-то выбежавшая в коридор, наградила его жарким испуганным взглядом,

который навсегда впечатался в возбуждённую память корнета.

— Не пора ли и нам в путь? — сказал Сажин, разглаживая мятые ассигнации о край стола. — Не понимаю, почему некоторые люди так небрежно относятся к деньгам, мнут их, комкают, обливают чаем, молоком и, конечно, вином.

— Может, сказать комнатной девке, чтобы согрела утюг? — усмехнулся ротмистр.

— Какой смысл греть утюг, когда в руке только две бумажки? — расхохотался Сажин. — Это Бенардаки, наверно, орудует утюгом, отглаживая мятые мужицкие рубли, у него их каждый день прибывает на многие тысячи.

— Между тем, нам действительно пора, — сказал, отойдя от окна, ротмистр. — На улице уже самая настоящая метель.

Прятели утепились широкими шарфами, которыми закрыли нижнюю половину лица, и погрузились в сани Сажина. Ротмистр взял в руки вожжи и направил лошадь в открытые дворником ворота. К счастью, метель была не ледяной, а мягкой, снег несло по открытому пространству Свяиги, он моментально облепил путников, впереди коня почти ничего не было видно, но ротмистр родился в подгорье и мог здесь ходить с завязанными глазами. Вскоре показался мигающий огонёк, это был масляный фонарь на городском конце моста, и, проехав с тридцать сажений, они встретились со щегольскими купеческими санками, возле которых стояли ожидавшие барина парни.

Сизов в энергичных выражениях объяснил своим людям, что они должны сделать, и потребовал повторить сказанное. Убедившись, что группа захвата свою задачу выучила назубок, он отпустил её вперёд, а сам с Сажиным направился следом. В центральную часть города они въезжать не стали, остановившись на Ярмарочной площади, совершенно пустой и имевшей несколько въездов и выездов на городские улицы. Ротмистр остановил коня на заветренной стороне громадного амбара и предложил Сажину погреться дымком. Они раскурили трубочки и, прижавшись для тепла друг к другу боками, стали вслушиваться и всматриваться в напичканную летящими хлопьями снега вечернюю темноту.

Прятели едва успели докурить до половины, как снег вокруг саней закрутился особенно буйно, и кто-то отчётливо произнёс:

— Слышь, Трошка, куревом тянет? Щупай вокруг глазами и руками, авось что-нибудь и нащупаем.

Бывалый ротмистр не стал дожидаться, пока эти явно разбойного покроя людишки прильзнутся к саням. Выхватив из-под полы бекеши пистолет, он закричал громовым голосом: «Стоять!» — и выстрелил в темноту. И крик, и выстрел были заглушены воем метели, но незваные гости поняли, что здесь им не рады, и сгнули без следа в снежной замяти.

— Наши-то не пройдут мимо? — спросил Сажин, которому уже надоело сидеть в санях: двести рублей в кармане настойчиво звали его в буфет дворянского собрания.

— Скоро будут, — уверенно сказал Сизов. — Давай, Мишель, выйдем из саней и разомнём ноги, чтобы резвее убежать от погони.

— Завидую твоему веселью, — хохотнул Сажин. — А я вот волнуюсь.

— Отчего?

— Не потерять бы двести рублей, если придётся бежать...

— Погоди, — остановил приятеля Сизов. — Вроде конь всхрапнул?

Метель на Большой Саратовской была не столь сильной, как в подгорье, улица была почти пуста, и братья подъехали к номерам Караваевой, почти никого не встретив. Привязав вожжи к коновязи, они поднялись на крыльцо, миновали сени и открыли дверь прихожей. Сторож в овчинной безрукавке лениво глянул в сторону гостей и тут же был крепко, до костного хруста, ухвачен за руки.

— Показывай, где барышня Кравкова, из-за которой тут была пальба!

Сторож мотнул головой в сторону лестницы и повёл налётчиков на второй этаж. Вокруг было пусто: Анна Петровна была в гостях с агитацией в пользу Сеченова, а Павел Дмитриевич, наскучив одиночеством, предпринял прогулку по заснеженным улицам и сейчас стоял возле губернаторского дворца и злобно глядел в окна, за которыми веселились гости и откуда доносились звуки скрипки.

Дверь в номер Кравковой, не имевшей привычки пользоваться щеколдой, была не заперта. Варвара Ивановна сидела за столом и смотрела в заснеженное окно. На сторожа и братьев она взглянула без страха, но с недоумением.

— Барышня Кравкова?

— Да, это я, а кто будете вы?

— Нам велено доставить вас в другое место.

— В какое? — Кравкова поднялась со стула. — Я никуда не пойду.

— Доставай куль, Ванька! — велел тот, кто был рядом с девицей, и не успела Варвара Ивановна пикнуть, поскольку от страха у неё пропал голос, как оказалась в ро-

гожном куле, который тут же подхватили налётчики и, оттолкнув сторожа, побежали на выход. Навстречу им поднимался по лестнице помещик Волобуев, вернувшийся из гостей от Бенардаки. Парни столкнули его вниз, но сызранский помещик стал звать на помощь:

— Грабят! Грабят!..

Крики разбудили население номеров, игравшие в карты приезжие офицеры выскочили на зов о помощи с оружием в руках. С улицы, весь в снегу, явился только что приехавший из деревни известный симбирский буян полковник Дробышев, который сразу придал гостиничной неразберихе характер следствия:

— Что украли, у кого? — спросил полковник, вытряхивая из усов и бакенбард намёрзшие льдинки.

Ответом ему было недоуменное переглядывание и молчание. Наконец сторож ожил от страха и задышливо проскрипел:

— Украли девицу Кравкову.

От оцепенения, вызванного этим известием, первым избавился полковник Дробышев, который кинулся во двор к своей тройке. За ним выбежал в расстёгнутой шинели с пистолетом в руке один из квартировавших в номерах офицеров.

— Я с вами!

В этот миг в воротах показался Сеченов, и Дробышев преградил ему путь:

— Куда поскакали выехавшие отсюда люди?

— В сторону Ярмарочной площади, — ответил смущённый полковничьим натиском Сеченов. — Но в чём дело?

Но Дробышев уже был в санях и ткнул кулаком кучера, а запрыгнувший следом за ним офицер прокричал:

— Украли девицу из соседнего с вами номера!

Погоня скрылась в вихревых плесках непроглядной метели, и Павел Дмитриевич наконец-то постиг смысл разыгравшейся во время его отсутствия трагедии: неизвестными злодеями была похищена Варвара Ивановна. Завтра же об этом станет известно губернатору, через две недели графу Блудову, что для Сеченова почти неизбежно должно закончиться если не ссылкой или тюрьмой, то крушением служебной карьеры.

Враз ослабевший Павел Дмитриевич едва-едва сумел подняться на крыльцо, обтёр лицо снегом, чтобы взбодриться, и вошёл в номера. Он опасался, что на него сейчас накинутся с вопросами, но обитатели номеров были заняты тем, что выдвигали самые разные предположения, кто совершил налёт. Говорили, что похищение юной симбирянки совершил какой-нибудь её тайный воздыхатель и, конечно, по взаимной договорённости сторон. Наиболее опытные в российской действительности предлагали допросить с пристрастием сторожа, предполагая в нём соучастника преступления. Кое-кто уже побывал в номере Кравковой и обнаружил, что её лисий с большим воротником салоп похитителями не забран, она, возможно, спрятана ими в самой гостинице или в домах поблизости.

— Ба! — воскликнул кто-то из самых догадливых. — Через дорогу Воскресенский собор, и похищенная девица сейчас там стоит под венцом.

Последняя мысль пришлась по нраву жившим в номерах офицерам, приятель которых с полковником пустился догонять похитителей. И они поспешили в собор, чтобы проверить наиболее пикантную версию происхождения.

Павел Дмитриевич, не задерживаясь, прошёл на второй этаж, где заглянул в комнату Кравковой. Действительно, салоп девицы висел на вешалке, иначе не могло и быть. Варвару Ивановну в самом деле украли, но не разбойники и не чеченцы, о которых завтра заговорит весь Симбирск, а это было делом рук её взбалмошного брата Мити. В этой мысли Сеченов уверился сразу, но она его не обрадовала, ведь если девица перейдёт на сторону брата, то роль Павла Дмитриевича во всей этой истории может перемениться самым радикальным образом, и молва вполне может обвинить его, что он покусился на семейные устои, а то и заподозрить в попытке совращения дворянской дочери. Мнение обывателей — самое страшное из того, что только можно было вообразить: уголовное судилище, лишение прав состояния и каторга в какой-нибудь сибирской крепости.

Тод холодея, то стгорая от ужаса, Павел Дмитриевич запёрся в своём номере, вынул из саквояжа пистолет и огненные припасы, зарядил оружие, всхлипнул и поднёс дуло к виску.

Ротмистр угадал: через мгновение перед ними появились сани, и рослый парень бросил куль на ноги Сажина.

— Вас видели? — сказал Сизов.

— Только сторож, но он пьян. Погони вроде нет.

— Всё равно постоит здесь, и если она будет, то уведёте её в сторону оврага, пусть там девку ищут! — энергично сказал ротмистр и обратился к Сажину: — Как она?

— Дышит, но она в одном платье. Эти балбесы привезли её раздетой.

— Тогда гони! — велел Сизов, запрыгивая в сани. — В куле не замёрзнет, но я ещё укрою её своей бекешей.

Под гору конь пошёл вмах, и скоро похитители со своей добычей были дома, Сажин быстро занёс куль в дом и положил возле печки на пол. Извлечённая на свет Варвара Ивановна недоуменно оглядывалась по сторонам и подрагивала от озноба.

— Великодушно простите нас, сударыня, за причинённые вам неудобства, — галантно произнёс Сизов и щёлкнул каблучками. — Вы в моём доме, и здесь всё к вашим услугам.

— Кто вы такой? — дрожа, спросила Варвара Ивановна.

— Ротмистр Сизов. А это мой приятель поручик Сажин, он объяснит, почему вы оказались в моём доме.

— Всё очень просто, — улыбаясь, сказал поручик. — Вы оказались добычей проходимца и мерзавца. Ваш брат Митя обратился к нам за помощью, и вот вы оказались здесь.

— А где он сам? — заоглядывалась Варвара Ивановна.

— Мы позаботились, чтобы он остался в стороне от этого щекотливого дела. Завтра он будет здесь, — доложил ротмистр. — Но меня, признаться, удивляет, что вы не радуетесь своему освобождению.

— Я поехала с Павлом Дмитриевичем по своей охоте, и он вовсе не мерзавец, а относился ко мне хорошо.

— Сейчас не время говорить об этом, тем более с незнакомыми людьми, — сказал Сизов. — Мы исполнили то, что просил ваш брат, и не хотим знать ничего, что больше этого. Прошу, сударыня, пройти к моим сёстрам. С ними вам будет удобнее и веселее.

Ротмистр, галантно поддерживая Варвару Ивановну за локоток, проводил её на женскую половину, представил сёстрам, для которых появление девицы одного с ними возраста стало настоящим подарком. Они закружились, защебетали вокруг гостьи, мигом устроили чаепитие возле самовара и с замиранием сердца, а порой обливаясь слезами, выслушали её историю любви к князю Асатиани и жестоких и бессердечных родственниках, воспрепятствовавших соединению любящих сердец.

Чуть позже выяснилось, что Варвара Ивановна — страстная поклонница творений князя Шаликова, и в девицей полились сопровождаемые вздохами, заламыванием рук и прочими причудами стенания плюгавого статью и духом стихотворца, от которого, а вовсе не от Пушкина, была без ума женская половина дворянской России.

## Глава 17

Полковник Дробышев был завзятым лошадиником, и в запряжке у него были хорошие кони, не раз выносившие хозяина из беды, в которую он неоднократно попадал, разъезжая по ярмаркам, где вёл крупную игру в карты. Многие опустошённые полковником помещики подозревали его в мошенничестве, даже пытались бить, но, заграбастав выигрыш, Дробышев на своей знаменитой тройке вовремя уходил от грозившей ему опасности.

Борзые кони, казалось бы, должны были настигнуть похитителей, но выюга застала преследователям очи, и Дробышев, толкнув кучера в спину, крикнул:

— Стой! Надо послушать...

Крутящиеся столбы снега, шурша, проносились мимо саней, в которых, напряжённо всматриваясь и вслушиваясь во взбаламученную мглу, сидели охотники за похитителями Кравковой, и их терпение было вознаграждено: совсем недалеко с визгом заржал конь и заскрипели ворота, и Дробышев завопил: «Держи вора!»

Кони рванули к большой избе, полковник, выскочив из саней, кинулся к воротам, ударил со всего разбега плечом в створы, но они даже не шелохнулись.

— А ведь они здесь! — радостно сообщил офицер. — Вот свежий санный след уходит в подворотню.

Дробышев присел на корточки, уверился, что офицер говорит правду, затем вынул из саней саженный дрючок, которым отбивался не раз от воров на просторных симбирских дорогах, и, подойдя к дому, со всего размаха ударил по закрытым ставням. Створки разлетелись щепками, но звона разбитого оконного стекла никто не услышал.

— Это, точно, воровской притон! — вскричал полковник. — Ставни повешены на сруб, будто это окна. Ломай ворота! Приготовить оружие!

Ворота штурмовали вдвоём, но они стояли неколебимо, пока Дробышев своим дрючком не сокрушил одну доску, в пробоине мелькнул свет, и старушечий голос стал урезонивать взломщиков:

— Что ломитесь? Кольца в калитке не видите. Я воротца не запираю, здесь как был проходной двор, так и остался.

Дробышев остоялбеломолчал, но офицер оказался догадливей: потянул за кольцо, и калитка легко открылась.

— Не томите, а то я озябла, — прошамкала бабка. — Дом пустой. Что ищите?

— Сюда сейчас заезжали сани? — строго сказал Дробышев. — Где ты их спрячешь?

— Откуда я знаю? Я глуха, барин, как печка. Может, кто и заезжал. Иной раз выйду во двор, там полно людей, а кто такие, не ведаю. Что дадут за постой, то и беру.

Но полковник, не слушая хозяйку, смотрел себе под ноги, затем хмыкнул, вырвал у неё из рук фонарь и пошёл по санному следу к высокому глухому забору.

— И как я сразу не понял, что это действительно проходной двор! — вскричал Дробышев. — Вот и ворота. Провели нас, поручик, как придурков. Ясно, что это воровской притон, вернее, вход в него. Тут по оврагу, где течёт Симбирка, в избах, норах и прочих схронах можно спрятать целый полк, и никто его не отыщет. Держи, бабка, свою плешь! А тем, кто сейчас заезжал, передай, что на этот раз они сцепились с полковником Дробышевым, и спуску им от меня не будет.

Кучер повернул тройку в сторону Большой Саратовской, и вскоре она остановилась у номеров Караваяевой. Здесь по-прежнему в коридоре былолюдно, постояльцы на все лады обсуждали происшествие, появление Дробышева оживило уже начавшую стихать дискуссию.

— Вы удивитесь, господа! — громогласно объявил полковник. — Похищение девицы явно не дело рук благородного человека.

— А кто же злодей? — враз спросили несколько постояльцев гостиницы.

— Ясное дело, что это сделали кавказские азиаты, те же чечены, — мрачно произнес сызранский помещик Волобуев. — Вот и доигрались с ними. Недавно, как его, да, виршеплёта Пушкина стишки отобрал у дочери, так в них эти конокрады возвеличены до небес. На кой чёрт России Кавказ? Говорят, что грузины православные, но моего деда в Тифлисе ни за что среди белого дня зарезали.

Волобуевскую версию захотелось поддержать многим, но этому решительно воспрепятствовал Дробышев.

— Кавказцы здесь ни при чём, — решительно заявил полковник. — Мы с поручиком взломали притон, воровскую избу у начала спуска в овраг, и удостоверились, что похитители там были за несколько минут перед нами, но смогли уйти, благодаря вторым воротам. Девицу надо искать в воровской слободке в овраге.

— Зачем же её украли? — растерянно спросил Сеченов, появившийся на пороге своего номера.

— Как зачем? — удивился наивности постояльца Волобуев. — Потребуют с родителей выкуп. А пока посадят на цепь в яме и будут кормить объедками.

— Надо, господа, что-то предпринять! — воскликнул Павел Дмитриевич. — Знает ли об этом полицейстер?

— Начальник нашей полицейской части Филиппини живёт в соседнем доме, — сообщил кто-то из коридорных слуг. — Позвать?

Сеченов понемногу пришёл в себя и осознал всю двусмысленность и шаткость своего положения: начни он суетиться, могут подумать, что хлопотливостью хочет отвести от себя подозрения, но нельзя было и вовсе удалиться, могут вообразить, что он ударился в бег. Но Павел Дмитриевич был достаточно увёртлив, чтобы отвести на время подозрения от себя.

— Где этот каналья сторож, коему полагается беречь постояльцев? — воинственно распушив бакенбарды, осведомился отставленный сызранский городничий. — И где мадам Караваяева? Если она застряла в гостях, то пусть кто-нибудь из слуг её отыщет и объявит о случившейся беде.

Это предложение получило поддержку у присутствующих. За Караваяевой был послан коридорный слуга. Сторожа, который спал на диване, растолкали, поставили на ноги и, чтобы он не осел на пол, прислонили к коридорной стене. На него сразу и налетел ястребом, лютый спросонья, полицейский капитан Филиппини.

Получив крепкую затрещину, сторож вообразил, что он всё ещё находится на плацу Семёновского полка, в коем отслужил четверть века, и, выпучив глаза, рявкнул: — Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Ты что, скотина, меня не узнаешь? — рассвирепел Филиппини и врезал сторожу ещё одного леща.

— Никак нет, ваше благородие, узнаю: вы полицейский капитан.

— Докладывай, что ты видел, только не лги, — предупредил Филиппини. — Розги для тебя всегда готовы.

— Налетели два молодых мужика, меня лишили памяти, а девицу сунули в куль и унесли.

Филиппины вывел сторожа к свету и повторил вопрос, но услышал точно такой же ответ.

— Это были мужики? Какие мужики?

— Наши симбиряне, одного зовут Иваном, а другого не знаю.

К полицейскому офицеру приблизился полковник Дробышев и обстоятельно рассказал про свою погоню.

— Это уже кое-что! Изба с двумя воротами мне ведома, она проходной двор для всяких воров и бродяг.

— Надо учинить там немедленно повальный обыск! — потребовал полковник. — На кону жизнь дворянки.

— К сожалению, сие невозможно, — развёл руками Филиппины. — Чтобы перетряхнуть воровскую слободку, надо собрать всех городских полицейских, а в оцепление поставить роту из гарнизонного батальона. Этим заниматься ночью нельзя. Утром я доложу о происшествии полицмейстеру Орловскому, и, думаю, после решения всех вопросов в полдень начнём ворошить воровские притоны. У кого есть сообщить по этому делу что-нибудь важное, прошу остаться, остальным предлагаю разойтись по номерам. Перепелятников!

— Я! — отозвался полицейский.

— Запри сторожа в какой-нибудь чулан. А сам займи его место в прихожей. Всех, которые входят и выходят, записывай.

Постояльцы начали расхотиться по своим номерам, Павел Дмитриевич хотел было тоже удалиться к себе, но возле двери решительно развернулся и подошёл к капитану.

— Имеете что-либо сказать?

— Девица Кравкова в Симбирск приехала со мной для поступления в Спасский женский монастырь. В некотором смысле я за неё ответственен, но кто бы мог подумать, что совершится столь ужасное злодейство.

— Вы были в своём номере, когда совершалось похищение?

— К сожалению, нет. Я совершал в это время вечернюю прогулку.

— В метель? — Филиппины остро глянул на Сеченова. — Хорошо. Составьте к утру письменное объяснение о вчерашнем вечере, и тогда мы продолжим беседу.

Павел Дмитриевич долго не мог заснуть, к неустойчивости его положения как не допущенного к должности градоначальника добавилось явно промелькнувшее в глазах и тоне разговора полицейского капитана подозрение в похищении девицы Кравковой.

— Чёрт меня дёрнул с ней связаться, — отчётливо проговорил, ни к кому не адресуясь, Сеченов, и тотчас в дверь осторожно постучали.

— Павел Дмитриевич, вы не спите? — это была сгоравшая от нетерпения погрузиться в разыгравшийся в её номерах скандал Караваева. — Я шокирована! И прошу ваших объяснений.

Сеченов возжёт свечку и открыл дверь хозяйке, которая пылала любопытством и немедленно приступила к допросу, во время которого несколько раз испытующе взглядывала на своего постояльца, от чего тот ёжился, предполагая, что и Караваева видит в нём похитителя. Не выдержав, он спросил напрямик:

— Надеюсь, вы не предполагаете во мне коновода этой гадкой затеи?

— Беда в том, что вас никто не видел гуляющим по городу, кроме бродячих собак.

— Моя беда в том, — чуть не всхлипнул Павел Дмитриевич, — что у меня доброе и отзывчивое сердце. Потому и пострадал не единожды от чёрствых людей. Но господь всё видит, и перед ним я чист!

Сеченов перекрестился на образ в правом углу комнаты и, достав из кармана большой платок, бурно высморкался.

— Возможно, от этого случая ваши дела улучшатся, — попыталась его успокоить Анна Петровна. — Пропажа Кравковой, решившей определиться в монахини, не пройдёт мимо нашего архиерея преосвященного Анатолия. Он обратит внимание губернатора, что это дело надо тщательно расследовать, потому что некоторые господа могут начать говорить, что Кравкову, дабы она не раздумала, уже закрыли в секретной келье монастыря, и назад ей ходу уже нет.

— Какая же мне от всего этого выгода? — недоуменно глянул на хозяйку Павел Дмитриевич.

— Что ни на есть прямая: Кравкову будут искать днём и ночью, а когда найдут, окажется, что вы честный человек, а в Симбирске это мнение дорогого стоит.

— Найдут ли? — засомневался Сеченов. — Полковник Дробышев видел, что воры пропали в овражной слободе. А я слышал, что там живут страшные головорезы.

— Всё это враки, — авторитетно заявила Караваева. — Полковник — известный буян и враль. Рассудите, зачем овражной босоте Кравкова?.. Смешно даже думать об этом. Скорее, это проделки самой беглянки. Что, если она говорила вам неправду, а имела целью добраться до Симбирска для встречи с каким-нибудь офицером? А

может, она решила разбить чью-то семью. Вы, мужчины, склонны судить о женщинах по лучшим из нас и легко ошибаетесь.

— Но Варвара Ивановна и губернатору призналась, что имеет сильное желание поступить в монастырь, — напомнил Сеченов.

— Вы не можете себе даже представить, как женщины коварны, даже лучшие подруги. Я, как и вы, не раз обжигалась на своей доброте и доверчивости. И вся причина — зависть. Вы даже представить себе не можете, сколько людей в городе сейчас вам завидуют?

— Завидуют! — поразился Павел Дмитриевич. — Да я бы сейчас с радостью поменялся своим несчастьем с любым.

— Многие вам завидуют, потому что они не в силах, по своей слабости характера, совершить то, что совершили вы. Поэтому у вас и образовалось столь много недоброжелателей.

— У меня о них заботы нет, — сказал Сеченов. — Поскорее бы объявилась Кравкова, чтобы я очистился от подозрений. Страшно подумать, что случится, если весь этот бред будет оформлен губернатором в донесение и дойдёт до графа Блудова!

Каравеева уже вызнала всё, что ей было нужно, и отправилась с прокурорским обходом по своим владениям. Утомлённые переполохом постояльцы отошли ко сну, коридорный слуга был трезв и чистил мелом медный подсвечник. Анна Петровна спустилась на первый этаж, где преподнесла полицейскому большую чарку очищенной, завякавшему в чулане сторожу было велено молчать. Выйдя в сени, Каравеева отомкнула щеколду и выглянула во двор. Метель угомонила, и крупно вывездило, узкий серпик народившейся луны был почти незаметен среди светил, сияющих, как лампы, с веток рябины возле крыльца осыпались под своей тяжестью мягкие хлопья снега.

Но в Симбирске спали не все, были и полуночники. Из дворянского собрания вышли Сажин и Сизов, поглядели друг на друга и расхохотались.

— Тем ты и дорог мне, Мишель, что у тебя лёгкая на козыри рука, — сказал ротмистр. — Я уж было простился с деньгами, которыми наградил нас корнет, но удача тебя не покинула. Ты сейчас куда?

— Туда, — махнул в неопределённом направлении рукой Сажин. — Дойду своими ногами. До встречи.

Поручик, и в самом деле, ещё не решил, куда направить свои нетрезвые ноги: к Бестужеву или весёлой вдовице, всё это находилось неподалеку, и он не спешил, охваченный очарованием звёздного неба, которое не только сияло, но и звучало в хмельной голове подгулявшего Сажина умиротворяющей музыкой. Он подхватил упавший с карниза комок снега, отёр им разгорячённое лицо и замер, привлечённый звуками торопливых шагов. Скоро из-за угла вышла и поспешила к губернаторскому дворцу стройная дама, и в голове поручика зазвучал охотничий рожок. Он убыстрил шаги и вскоре смог рассмотреть незнакомку. Она была одета в салоп и покрыта расписной в больших маках шалью.

«Наверняка губернаторская служанка», — решил Сажин и, ускорив шаги, схватил незнакомку за руку.

— Симбирск — опасный город, — сказал поручик. — Не далее, как несколько часов тому, украли девицу. Позвольте мне быть вашим сторожем, милая барышня.

Незнакомка замедлила шаги и повернула голову, но лицо её было закрыто вуалью, и тут она заперхала и закашлялась, совсем как старуха.

— Мне, барин, провожатые не нужны, — прошамкала бабка. — Шёл бы ты своей дорогой, а то кликну жандарма, дворец-то рядом.

Преобразование стройной незнакомки в старуху было столь быстрым и неожиданным, что Сажин на какое-то время оторопел. И этого оказалось достаточно, чтобы она вошла в калитку, которая вела в оранжерею, где своим ключом открыла двери, обернулась и рассмеялась дребезжащим смешком, в котором поручик явно уловил нотки издевательства над своей персоной. Но Сажин не оскорбился, а почувствовал себя весело, оттого что освободился от наваждения.

«Правду говорят, что сзади молодуха, а спереди старуха! — подумал он и звонко расхохотался. Этого смеха оказалось достаточно, чтобы с дерева, возле которого стоял Сажин, осыпался снег и запорол его с головы до ног.